Беренштам Вл.

В тисках ссылки.

Ленинград, 1924.

ВЛ. БЕРЕНШТАМ



В ТИСКАХ ССЫЛКИ



Сектор „Юный Пролетарий“
Рабочего Издательства „ПРИБОЙ“ Ленинград 1924

Ленинградский гублит № 13399 Зак. № 1547 Тир. 10.000

Госуд. типогр. имени тов. Зиновьева. Ленинград, Социалистическая, 14.



Предисловие

Настоящие заметки были написаны мною, как сводка путевых впечатлений поездки в Якутск на защиту по известному делу «о вооруженном восстании романовцев».

В феврале 1904 г. политические ссыльные Якутской области, благодаря своему неукротимому революционному духу, желавшие продолжать борьбу с царским самодержавием за социализм хотя-бы и на этой отдаленной окраине, доведенные до величайшего негодования нелепыми по своей жестокости циркулярами министра внутренних дел Плеве и местной администрации, собрались в Якутске, вооружившись кто чем мог, и заперлись в доме инородца Романова. Отсюда они пред'явили местному губернатору Чаплину небывалое в то время по форме заявление следующего содержания:

«Якутский губернатор! Мы никогда не считали ссылки и прочие репрессии правительства против революционеров явлением нормальным, или имеющим что-либо общее с справедливостью. Тем не менее мы не можем допустить попытки отягчения ссылки путем применяемых к нам разных измышлений больших и маленьких властей, не стесняющихся в своей изобретательности даже рамками законов, изданных с репрессивными целями самодержавным русским правительством».

Далее указывались самые ужасные условия жизни ссыльных и говорилось:

«Служить об'ектом произвола и административных измышлений, откуда бы они не исходили, мы не желаем и заявляем, что никто из нас не уедет из Якутска и что мы не остановимся перед самыми крайними мерами до

тех пор, пока не будут удовлетворены следующие требования:

1) Гарантия немедленной без всяких проволочек и пререканий отправки всех оканчивающих срок товарищей на казенный счет.

2) Отмена всех изданных за последнее время распоряжений о стеснении и почти полном воспрещении отлучек.

3) Отмена всяких, кроме точно указанных в «Положении о гласном надзоре», репрессий за нарушение этого «Положения».

4) Отмена циркуляра, запрещающего свидания партии с местными политическими ссыльными».

Затем в заявлении указывалось, что политические ссыльные по требованию полиции никуда являться не будут.

Между губернатором, прибывшими в переднюю Романовки, и ссыльными начались переговоры. Губернатор убеждал ссыльных разойтись. Они категорически отказались. Губернатор дал согласие на отправку политическими телеграммы министру внутр. дел, аналогичной приведенному заявлению. Над зданием Романовки впервые для России открыто взвилось красное знамя, которое и развевалось затем в течение всего протеста. А протест, начавшийся 18 февраля, затянулся до 7 марта (20 марта н. ст.), причем течение его приняло чрезвычайно острую форму и сопровождалось рядом драматических моментов. Всего в Романовке засело — с пробравшимися в нее и после начала протеста — 57 человек виднейших и талантливейших революционеров, громадное большинство которых составляло левое крыло соц.-дем. партии, польской п. с.-д., а также бундовцы и социалисты-революционеры. Но среди них были и два крестьянина-грузина, не говорящие ни слова по русски, неграмотные, удивительные старики, ставшие революционерами только в ссылке.

Четыре раза политические ссыльные подвергались в небольшом деревянном доме из 6-ти комнат жесточайшим обстрелам. Дом был весь изрешетен прострелами на вылет. И в моменты, когда у романовцев уже был убит т. Юрий

Матлахов — первый рабочий, погибший на баррикадах в России, когда были ранены другие (А. А. Костюшко-Валюжанич,—расстрелянный затем Рененкампфом в Чите под фамилией Григоровича, и А. М. Медяник),—политические ссыльные заявляли, что не уйдут из дома. Своею гибелью они хотели закричать на весь мир о безысходном положении русской политической ссылки. Но когда из переговоров с губернатором эти мужественные люди убедились, что во всех сообщениях, докладах их дело совершенно извращено, что им приписывается нелепая пальба по городу в мирных жителей, тогда, как они за все время произвели два выстрела в самообороне, коими и были убиты двое солдат, ссыльные вышли из Романовки, чтобы на суде раз‘яснить всю правду и, быть может, затем погибнуть на виселице, как-то было перед тем, в Якутске же, при первом протесте Гасмана, Когана-Беренштейна и других. И действительно, суд над романовцами превратился в суд над администрацией, над системой гнета ссылки, над самим генерал-губернатором гр. Кутайсовым. Никогда ни в одном деле судебный процесс не поднимался на такую высоту значения именно политического общественного процесса. На суд в Якутск специально прибыли— старший председатель Иркутской судебной палаты и прокурор ее. Прибыли в качестве защитников и мы—А. С. Зарудный и я. Подсудимые — Розенталь, Израельсон, Коган, Бройд, Залкинд, Теплов, Никифоров, Тесслер, Закон, Хацкелевич, Виленкин, Рейзман, Костюшко, Боднеский и проч. произнесли замечательные речи. Положение ссылки было широко освещено. И хотя подсудимые (которым грозила бессрочная каторга) были приговорены каждый к 12 годам каторги, а все к—672 годам каторжных работ, но приговор состоялся лишь двумя голосами. Член суда Л. А. Соколов остался при особом письменном мнении, доказывающем правдивость всех заявлений подсудимых на суде. Двое осуждающих судей писали в приговоре, что не верят почти всем ста (100) свидетелям обвинения, но все же указывали, что романовцы произвели не два, а более выстрелов. И романовцы (в количестве 33 человек) подали апелляционный отзыв, чтобы продолжать

свою борьбу в суде, чтобы дать большую огласку всем тем безобразиям, которые творились с ссыльными.

Тем временем романовский процесс пробудил большой интерес за границей, и о нем заговорила иностранная печать. Между прочим, мои статьи «Якутская область и ссылка» были переведены из «Права» в ряде номеров «Берлинер Тагеблатт» — тогда распространенной в Германии буржуазной и «влиятельной» газете. Благодаря именно этому Иркутский генерал-губернатор гр. Кутайсов (как он сам об'яснил мне) счел нужным явиться ко мне на квартиру в Петербурге для выяснения своей роли в отношении ссылки и указания, что он действовал по настойчивым требованиям Плеве. Прося сделать дополнения в моих статьях, ген.-губ. гр. Кутайсов дал мне принесенные, засвидетельствованные на его служебных бланках, копии свежих секретных циркуляров, уничтожавших все те распоряжения, отмены которых добивались своим протестом романовцы. Я, конечно, взял секретные циркуляры и заявил, что представляю их в судебную палату, что и сделал.

В момент прихода ко мне гр. Кутайсова у меня сидел только что бежавший из Сибири (с пути в Иркутск) романовец Наум Коган.

Об этой поразительной встрече Коган рассказал мне:

— С облегченным сердцем вошел я к вам и решил юркнуть в кабинет, чтобы не встретиться с кем-нибудь в приемной. Уселся в кресло и почувствовал себя в полной безопасности. Наконец могу отдохнуть после всех мытарств побега.

— Вдруг открывается дверь и в кабинет входит, «блистая» звездами, Иркутский генерал-губернатор. Я его сразу же узнал по тем портретам, которые были развешаны по Сибири. Так как единственное кресло занимал я, то он уселся на табуретке напротив. И между нами начался молчаливо немой разговор.

— Он вперил глаза в меня, а я в него... И я уверен, что он чувствовал, кто я, понимал, что я — революционер... Наконец вошли вы...

На разбор дела в Иркутск снова приехали мы — Зарудный и я. Кроме того по нашей инициативе подсуди-

мыми, как защитник, был приглашен видный иркутский присяжный поверенный Оркштейн. Конечно, я представил палате новые циркуляры генерал-губернатора. Снова суд над романовцами превратился в суд над системой истязания ссылкой. Снова подсудимые произнесли замечательные речи. Прокурор в первой речи сомневавшийся, верить ли заявлениям подсудимых о количестве всего двух произведенных «ими» за все время выстрелов,—заявил затем, что защита убедила его в правдивости этих заявлений. Не могла не поверить им также и судебная палата.

Таким образом, все задачи романовского протеста были осуществлены.

Во время слушания дела в Иркутске произошли две демонстрации в зале суда и на улице перед зданием суда. Крики демонстрантов-рабочих—«долой самодержавие» доносились с улицы, несмотря на закрытые окна.

Прокурор предложил палате, утверждая приговор якутского суда о 12 годах каторги, юридически правильный, возбудить по инициативе палаты ходатайство о помиловании подсудимых. Тогда подсудимые вскочили с мест и начали кричать: «долой самодержавие», а рабочий Ржонца от имени всех заявил:—«нам не надо царской милости, нам нужна свобода, а свободу нам даст тот рабочий народ, который сейчас за стенами этого суда кричит—«долой самодержавие». Остальные подсудимые поддержали Ржонца. Тем не менее палата, утвердив меру наказания якутского окружного суда, постановила, в виду исключительных обстоятельств дела, ходатайствовать в порядке 775-й ст. уст. угол. судопр. перед царем о минимальном наказании ниже которого палата не считала себя в праве итти (двумя годами крепости без ограничения прав).

Подсудимые протестовали криком: «долой самодержавие. Мы не хотим царской милости». И подали письменные заявления о непринятии ими смягчения участи этим путем.—«По своим убеждениям я—социал-демократ, враг существующей политической системы, принимать от нее милости не могу и не желаю, а против подобных



попыток палаты протестую»—писал рабочий, наборщик М. Каммермахер. — «Царской милости я предпочитаю каторжный приговор»,—заканчивал свой протест от имени всех подсудимых известный в эмигрантских кругах П. Теплов (вскоре умерший). Палата не дала хода этим заявлениям и не приобщила их к делу, «как оскорбительным по форме». Часть романовцев устроила замечательный побег из Александровской тюрьмы, сделав подкоп длиною 40 сажен и распилив для этого самодельной из ножа пилой под землею толстые пали ограды. Большинство бежавших было арестовано благодаря случайности: крестьяне приняли их за конокрадов и задержали.

Всем романовцам, кроме бежавших (которые отделались пустячным наказанием) был засчитан в наказание год предварительного заключения и все они, в том числе и отказавшиеся от аппеляции, были освобождены.

Протест вызвал широкое сочувствие всех политических ссыльных. Из самых разнообразных мест ссылки иркутскому генерал-губернатору посыпались телеграммы, заявления о присоединении к требованиям товарищей. Вспоминается телеграмма из Олекминска покойного М. Урицкого. В Сибири это дело получило чрезвычайно широкую огласку и взволновало все население могучей реки Лены, по берегу которой были расселены ссыльные-политические.

Этим, вероятно, и об'ясняются некоторые «горячие» встречи по пути.

Владимир Беренштам.



В поезде.—Златоуст.—Расстрел рабочих.—Первая встреча с политическими.—Иркутск.—На лошадях.—Смерть политических.—Этап.—Ночной визит к «государственному».—Избиение политических.

Итак, решено.

Я еду в Якутск на защиту по этому страшному политическому процессу. Все мысли мои заняты им. Документы по делу только что получены, а я едва поспею к судебному заседанию. Дорогой придется много работать. И хотя впереди целый месяц пути, времени у меня мало, я не могу свободно отдаться внешним впечатлениям дороги... «Ведь я увижу те унылые, «гиблые» места, где медленно погибают люди в тяжелой ссылке»,—приходит мне в голову, когда смотрю из окна вагона на самарские степи... И я замечаю бегущих по ним упряжных верблюдов лишь после того, как мне их указывают... Оттого мои впечатления поездки «туда» так рассеянно отрывочны...

За душными, пыльными самарскими степями идут вперемежку лесистые и степные места... Всюду и везде береза и береза... С раннего третьего утра начинается дивный Урал с его скалами, дикой, густой зарослью, могучими потоками, ярко-зелеными полянами, темными соснами, пихтами и снова скалами... Вот и Златоуст... Поезд бежит по горе, и этот, притаившийся в ложбине город виден, как на ладони... Там—собор, это—дом уездного начальника, а то—белеет и школа... Я с интересом разглядываю это место знаменитых заводских беспорядков, закончившихся подлым расстрелом десятков несчастных тружеников... Им, вопреки закону, не уведомив каждого за две недели, изменили договор личного найма. И они

явились на завод требовать оставления в силе прежних условий...

«Говорить со всеми невозможно»,—об‘явило им местное начальство и предложило выбрать трех уполномоченных. Они доверились. И уполномоченные были сразу же арестованы... Толпа подошла к дому уездного начальника требовать освобождения арестованных, и ее встретили залпами... Без предупреждения... Впрочем, губернатор Богданович махнул платком, но никто, кроме него и офицера, не знал этой сигнализации... Никто не ожидал выстрелов. Их не ждали и дети, мирно занимавшиеся в школе, по другую сторону площади... Они не могли даже видеть платка... И по залитым кровью тихим улицам небольшого городка длинной вереницей потянулись повозки с наскоро сколоченными гробами и гробиками.

За Златоустом горы лежат на горизонте тяжелой, непрырывной цепью, точно какой-то мощный, фантастичный великан положил там свою синюю руку с выступающими мускулами... Виды становятся все шире, раскрывается степь.

За Уралом мелькнул серый каменный обелиск, поставленный у полотна дороги...

— Вот она, граница Европы и Азии.

Я едва успел взглянуть на новенький межевой знак, как он уже исчез из глаз.

И мне вспомнился пограничный столб на исторической «Владимирке», вспомнилось прощание около него с родной землею бредущих в неведомую даль политических.

И только, как неясное, мелькнувшее воспоминание пережитого тысячами людей горя, стоит этот серый камень...

Вечная память погибшим жертвам гнета и насилия!

— «Вы жертвою пали борьбы роковой, любви беззаветной к народу»...—унылым воспоминанием отдалась в душе старая давящая песнь...

Поезд бежал...

На одном из одиноко торчащих в степи вокзалов я замечаю несколько интеллигентных, бедно одетых молодых

людей и девушек. Они стоят особняком и молча внимательно смотрят на пассажиров, занятых «пробежкой». Раздается третий звонок Я тороплюсь к вагону, становлюсь уже на площадку. Вдруг ко мне подбегает юная девушка и порывисто спрашивает:

— Ваша фамилия Беренштам?

— Да,—отвечаю я.

Она оборачивается и кивает головой, и все, стоящие около заборчика палисадника, и она неожиданно кричит мне:

— Счастливой дороги, всего, всего хорошего!

Мужчины радушно машут шляпами, у девушки в руках платок... Поезд идет... Я не знаю, успел ли крикнуть или поклониться им в свою очередь—так ошеломила меня эта встреча.

Вот уже двое суток тянется нетронутая степь... Береза все гуще и гуще покрывает ее. Местами мне кажется, что предо мной Сорочинский луг Полтавской губернии. Конечно, там зелень разнообразнее, но эта «степь» более похожа, по внешнему виду, на заливной луг... А сколько здесь не убранного бурелома...

Станция «Тайга», а за нею настоящая, густая, непролазная тайга. Тут и выжженные, обожженные деревья, и болота, и бурелом... Деревья—тонкие, высокие, но зато кустарник—широкий, могучий...

И так опять на многие сотни верст...

Тайга обрывается. Начинаются горы Красноярска — высокие, багровые, точно старая черепица... За Красноярском долины, горы, горы и снова тайга...

Мы под'езжаем к Иркутску.

Так вот он—Иркутск—столица всей Восточной Сибири, грозный центр ссылки!... Среди необозримых пространств, равных многим государствам, стоит одиноко этот город с немощеными, пыльными улицами, с деревянными мостками, вместо тротуаров, одноэтажными домами. Только одна Большая улица полна людей, снующих мимо магазинов, вымощена, и потому похожа на проспект губернского го-

рода... Днем в Иркутске еще заметна жизнь, но по ночам он всегда темен и мрачен, как самый захолустный уедный городишка Европейской России, не знающий даже порядочных керосиновых фонарей...

И нигде по всей России, нигде в мире ни один представитель власти не пользуется таким всемогуществом, как здесь, в этом заброшенном городе, генерал-губернатор... Отсюда он правит этими несколькими странами—по их площади, этими несколькими Европейскими Россиями!..

Наскоро готовлюсь в далекий путь... Еще с дороги я отправил в Иркутск знакомым телеграмму, прося заранее справиться о пароходе и если можно, найти попутчика.

И для меня все налажено. Найден до Жигаловой «проходной возок», сделана обычная тут публикация в газете, что я ищу экстренного попутчика...

Нашлась попутчица—молодая девушка. У нее сибирское лицо—широкое, скуластое, добродушное... Она—слушательница акушерских курсов в Томске, но в ушах болтаются серьги колечками... Она просто и доверчиво смотрит на меня своими серыми глазами, и я решаюсь ехать с ней, хотя сразу же в глубине души соображаю, что она сможет только стеречь вещи.

Обыкновенно зимою, отправляясь в Якутскую область, все берут с собою готовый, но замороженный тарелками суп на все пятнадцать-двадцать дней пути... По дороге ничего с'естного не достать... И мне советуют взять с собой консервов, чаю, сахару, хлеба... Я делаю величайшую глупость—не слушаюсь мудрых наставлений и беру с собой провизии на два дня!.. «Возок» еще с вечера доставляют во двор гостиницы... Это не совсем обычный экипаж. На высоких колесах—длинные дроги из жердей, а на них громадный кузов-корзина, обшитая снаружи кожей, кожаный же «верх», как в фаэтоне. Сидения—никакого. Я не без смущения гляжу на это сооружение... Ведь, ехать 400 верст.

Утром чуть свет мне укладывают вещи... И я сразу же узнаю, что такое эти сибирские «возки»... В них неизме-

римо удобнее, спокойнее и поместительнее, чем в хорошей коляске или карете.

Сидеть нужно впереди верха, посреди возка, на чемоданах и подушках. Спинки нет. Но зато всегда можно лечь, забравшись головой вглубь нависшего верха. И тогда вы спите «как дома»...

Я заезжаю за попутчицей, и мы трогаемся в путь...

Солнце жжет. Девушка надевает платочек, я полотняную шляпу, случайно захваченную с собой... Мы выбираемся за Иркутск. Лошади вползают на крутую гору. Ямщик останавливает лошадей и оборачивается.

— Виды смотреть будете, али нет?..

— Нет...

— Здесь все смотрят...

Мы встаем на возке и оборачиваемся. За глубокой зеленой падью, испещренной голубыми жилками воды, высоко поднимается снова гора, на ней лежит город, блестят церковные купола... А дальше, в стороны, тянется могучая тайга и снова горы и горы... Вид совершенно швейцарский... Трогаемся...

По бокам дороги идут перелески... Небо ясное, тепло, трава кругом яркая, пышная...

— Совсем, как на Украине!—говорю я в восхищении.

— А на ночь вы запасли шубу или теплую одежду?—усмехаясь, спрашивает меня спутница.—Вот ночью посмотрите, какая Украина... У вас там, в России, должно, сейчас совсем тепло?

— Да, я уехал от фруктов...

— Ну, а у нас, кроме голубицы, ничего не найдете.

— Какой голубицы?

Ямщик, слушающий наш разговор, оборачивается и весело смеется.

— Что ты, голубицы не знаешь?!

— А что?

— Да как же не знать, когда ее каждое дите в лесу найдет!..

Лошади снова начинают подниматься в гору... Ямщик соскакивает и убегает в таежник... Он бежит рядом с нами

среди жидких деревцов и жидкого кустарника. Наконец, он нагибается и, торжествуя, летит к нам с веткой в руках. И я доподлинно узнаю, что голубица—маленькая, кругленькая, сизая ягодка, в роде дикого винограда, и совершенно безвкусная...

Мы проезжаем мимо деревни... Она не похожа на наши русские. Избы массивные, из толстейших круглых бревен, какие употребляются на распилку досок, у окон везде ставни с хорошими железными болтами, точно за этими окнами живет не бедная крестьянская семья, которой нечего беречь, а богатая помещица, из «ахающих» дам, видящих за всеми кустами, во всяком мирном прохожем, либо разбойника, либо грабителя.

На каждой станции мы меняем лошадей и ямщиков... Пока запрягают, пока писарь пишет квитанцию, я успеваю иногда услышать клочки «сибирских» разговоров...

На одной из таких станций, когда я наскоро умываюсь, до меня доносится рассказ «сибирского» доктора»...

— Поехали мы вскрывать труп убитого... Дело было зимою. Разбойники уложили его около самой дороги, на открытом месте... Труп и замерз. Нельзя вскрывать. Что тут делать, как отогреть?.. Посоветовались мы с заседателем, сделали прорубь в Лене и, привязав труп на веревке за шею, спустили в воду... Сами пошли закусить. Только приходим через некоторое время, а у трупа осталась одна голова... Ах, ты, леший! Что тут делать? Бросили мы и голову в Лену, а сами протокол составили, что никакого трупа на месте происшествия не оказалось...

— А как же преступление?

— Да так и покрыли разбойников...

— А панихиду отслужили?—спрашивает женский голос.

— Где там!.. Сейчас видно, что вы только в Сибирь едете? Поезжайте подальше, сами узнаете... Там в деревнях все без попов хоронят. Где вы попа достанете, когда его приход в длину верст на триста, а в ширину на пятьсот?.. Потом сразу список всех погребенных за зиму доставляют, он заочно и отпевает...

— А что за черный крест я видела около дороги?

— Черный? Значит, «государственный» похоронен. По-

литический! Они тут по всей Лене да по этому тракту черной краской или смолой кресты своих красят. По этому и узнать сразу можно... Надпись какая-нибудь была?

— Да, белыми буквами не закрашено—«государственный» и фамилия, а пониже: «ты предпочел смерть жизни в неволе»...

— Значит, самоубийца... Много таких...

— Да-а... Будете в Верхоленске да задержат с лошадьми, пойдите на кладбище... Я как раз тогда тоже ехал... Девушка какая-то везла своего товарища, фамилию помню, Богданова[1]. Знаете, туберкулез ноги, обоих легких... Долго хлопотал, чтоб из Киренска разрешили переселиться в Иркутск. Разрешили, когда умирать начал, пластом уже лежал... Ну, настоял везти... Дорогою в возке и скончался... Так, будто спит больной и переносили из возка в возок до самого Верхоленска... Я вижу—голова закрыта: тяжело больной. Даже подошел спросить, не нужно ли медицинской помощи. А девушка, бледная вся, спокойно в ответ: «нет, ничего, ему хорошо, не надо!..» Зайдите в Верхоленске—на кладбище, сразу увидите большой черный крест, это его и есть...

— Идемте,—зовет меня спутница,—лошади поданы!

И мы снова двигаемся... Удивительно, как впереди нас бежит молва, что «едет адвокат»... Страшно «любопытствуют» сибиряки, и, когда вы под‘езжаете к почтовой станции, собирающиеся уже от‘ехать ямщики через минуту знают, кто вы и откуда...

— Вот этап у начала села,—говорит ямщик и тычет кнутом в сторону серющей постройки. ..

У конца деревни стоит одноэтажная изба, окруженная со всех сторон высоким деревянным частоколом из толстых заостренных вверху бревен. Из-за их концов видна только крыша этапа... Около частокола никого нет. Не видно даже на углах полосатых будок—этой неот‘емлемой принадлежности всех наших «европейских» тюрем.

---

[1] Речь шла о Николае Федоровиче Богданове, одном из основателей (вместе с В. И. Лениным) союза «Борьбы за освобождение рабочего класса». Везла Неустроева.

— Что же,—спрашиваю я,—там кто-нибудь сейчас живет?

— Никого, окромя клопов, нету... Только они, подлецы, там постоянно и живут, дожидаются партии... Ну, а как приведут на ночевку, так голодные набрасываются... Пощады никому не дают.. Уголовные и те выдержать не могут! Хуже вшей! Посмотришь иной раз на девушку государственную, как выходят утром, и отвернешься—жалко смотреть! Ночевка такая!.. Конечно, без мешка спать никак нельзя... Всякий и запасается мешком, из простынь, из юбок шьют, просто по шею влезет в мешок и на шее стянет, как кисет, а то и с головой в мешок... Этакий маленький зверек, а такое паскудство! Вон посмотрите, видите в стороне, под горой, дома «братских», бурят, значит... Ведь вся деревня пустая стоит, окна, двери заколочены. На лето вон куды они выбрались, видите— другая такая же деревня... Так и кочуют: летом в одних домах, а зимой в других! А все из-за клопов: это они их та[illegible]оняют... Раньше из-за скота бродяжествовали...

М[illegible]ем день и ночь без передышки...

— Ложитесь спать,—говорит мне спутница,—я все равно не могу, у меня так трещит голова, буду сидеть и лошадей буду менять... Ведь никогда не сплю в дороге!— уныло произносит она.

Моя спутница едет «в гости» на две недели к товарке. Для проезда туда и обратно она проведет в пути 16 суток!

Я решительно ложусь и засыпаю... На первом же станке меня будит ямщик.

— Вставай лошадей менять!—Увы, моя спутница уже спит во всю, как могут спать только люди, уверяющие, что они страдают бессоницей...

Я вскакиваю и чувствую, что окоченел от холода...

И начинается ночное мыканье... Едва успешь заснуть или задремать. как нужно вскакивать, бежать на станцию расплачиваться... Дрожишь от пронизывающей, моросящей сырости, снова кутаешься... И это в конце июня...

Когда мы под‘ехали к Манзурке, уж начинало светать, в воздухе чувствовалась предрассветная голубая мгла...

Побежал менять лошадей. Все было готово, и я собирался начать умащиваться в возок, как ко мне подошел какой-то ямщик и таинственно спросил:

— Не адвокат ли вы?

— Да! А что?

— Не вам ли это письмецо,—спросил он и протянул мятый конверт. Я зажег спичку. На конверте была надпись: «Адвокатам, едущим в Якутск», и наши фамилии. На полулистике почтовой бумаги значилось всего несколько слов: «Не откажите, зайдите хоть на минуту к нам, либо вызовите нас. Местные политические ссыльные», и подписи. Я взглянул на барышню. Она крепко спала. Будет-таки стеречь наше добро,—подумал я,—пожалуй, и без фрака на суд явишься!..» Возок стоял посреди улицы, ямщик, собиравшийся ехать, побежал за рукавицами...

— Где же они живут?—спросил я.

— Да вот здесь, видите домик!..

Ничего, кроме мглы и смутных очертаний небольших изб, я не видел.

— Ну, так я вас провожу.

— Ладно...

Это была маленькая деревянная лачужка, начинающая грузнуть в землю, вероятно, одна из худших изб во всей деревне... Ее дверь выходила прямо на улицу. Я постучал.

— Кто там?—спросил тревожный голос, такой, каким обыкновенно на Руси встречали ночные «телеграммы».

— Не бойтесь,—отвечал я, зажигая спичку,—это не обыск, а едущий в Якутск адвокат.

«Он» распахнул двери...

— Ну, садитесь, садитесь,—говорил «политический», зажигая скверную лампочку,—нет, вот здесь, на кровати вам будет мягче...

В этой маленькой, придавленной, грязной, прокоптелой и душной комнатке жил он один.

Предо мной стоял юноша с хорошим, открытым лицом, с блестящими глазами...

— Вы надолго?—спросил он.

— Нет, на несколько минут, я очень тороплюсь...

— Ну, так мне не успеть созвать товарищей... Им это



будет так обидно... Раньше мы жили все вместе, а потом решили, что удобнее отдельно... Как же мне с ними?!

— Вы им расскажете...

— Да, да, да, видите, видите, я решил с вами посоветываться... Это, это так мучительно... Я не могу забыть...

Его голос теперь дрожал, весь он нервно вздрагивал...

— Это было девятнадцатого мая... Да, я помню день. К нам пришел пристав и попросил не добиваться свидания с только что прибывшей партией, так как из-за этого им будут неприятности... И мы согласились... Мы сидели у себя... Потом вдруг услыхали ужасный крик... Мы выскочили...

Юноша замолчал... Мне было страшно глядеть на него. Все его худое тело колотила лихорадка, расширенные, точно испуганные глаза тоскливо смотрели в пространство...

— Да, я видел... На телегах везли связанными всю партию... Они были избиты, окровавлены, оборваны и колотились головами о передки телег!.. И колеса так гулко стучали о комки засохшей грязи... Женщин было пять, и я видел, видел их...

Юноша снова замолчал и забился в угол комнаты...

— Они добивались свидания с нами,—промолвил он, несколько успокоившись...—Хотели порадовать... Потом мы узнали...

— Как же это произошло? Расскажите!

— Конвойный офицер Сикорский отказал... Тогда партия расположилась около палей стены и заявила, что требует, требует свидания... И этого было довольно... Кругом столпились конвойные, десятские, сотские, урядники... Явился пристав и об‘явил, что мы отказались от свидания, склонившись на его просьбу, что мы согласны...

— Ну...

— Партия потребовала предоставить возможность убедиться в этом, после чего соглашалась мирно ехать дальше. Пристав готов был повести их старосту в волостное правление и дать ему свидание с некоторыми из нас, чтоб проверить его слова... Но Сикорский запротестовал. Напрасно пристав говорил, что берет на себя всю ответственность за отлучку старосты, что нельзя же допу-

скать избиения... Сикорский приказал конвойным тащить политических на повозки. Началась свалка, государственные не давались, хотя их уже избили... Тогда Сикорский приказал «дуть» прикладами... Уголовные хотели броситься на помощь, но Сикорский крикнул, что прикует их к телегам... Некоторые из партии соскочили с повозок... И Сикорский злорадно приказал привязать всех, в том числе и женщин... И их повезли... Но за что же их избили? За что?! За попытку пожать руку товарищам по несчастью, за попытку сказать несколько приветственных слов в присутствии конвойного офицера и солдат!.. Теперь мы решили протестовать, послать заявление генерал-губернатору, но что же нам еще делать, скажите, скажите!.. Вы, вероятно, слышали... Потом в этой партии студент Минский убил конвойного офицера Сикорского, когда тот хотел изнасиловать девушку из их партии...

— Где Минский?

— Он арестован в Якутске... Будут судить...

— Вы—незаменимый свидетель... Я посоветую Минскому вас вызвать...

Мы расстаемся. Бегу к своему возку. Спутница спит...

И сколько потом, в Сибири, я наслышался рассказов об этих бесцельных, гнусных избиениях партий ссылаемых!..

В Мартыновском, в Усть-Куте...

Лошади бегут...

II

Верхоленск.—Побег политического в корзине.—На лодке.—Зимовье.—Политические в дороге.—Берега Лены.—По «осеннему тракту».—«Пари.»—Хитрый побег политического.

Дорога везде грунтовая. Кое-где у станков попадаются кузницы, мелькнула даже один раз крошечная украинская хатка с цветами в окнах, кое-где на околицах деревень установлены заставы, охраняемые калеками... На беглый взгляд, засеянные поля мало чем отличаются от полтавских...

Но вот и паром около селения Качугского. Мы переезжаем реку Лену—пока небольшую реченку, которая затем превращается около Якутска в могучую, быструю реку, шириною 10 верст, а за Якутском расплывающуюся в самое жаркое время на 30 верст ширины... Точно море [1]...

Путь тянется теперь по берегу реки Лены... Иногда серая лента дороги забирается в прибрежные крутые и высокие горы, изумительной красоты, потом падает вниз и снова вьется по берегу реки.

Верхоленск расположен на дивной долине Лены, усыпанной спелым глодом и ярким шиповником. Когда-то этот городок с несколькими мелочными лавочками, базаром, церковью, школой, министерской аптекой был известен, как место ссылки политических. Но теперь сюда никого из них не ссылают, как в населенный пункт. В целом ряде циркуляров иркутских генерал-губернаторов, начиная с восьмидесятых годов, указывается на необходимость

[1] Благодаря массе островов, ширина реки не бросается в глаза.

ставить политическим ссыльным всевозможные к тому препятствия. Благодаря якутскому делу, я имел полную возможность познакомиться с этими бессердечными, жестокими циркулярами!

Верхоленск нельзя смешивать с Верхоянском—этим ужаснейшим из ужасных мест политической ссылки... А между тем эти сходные названия путают очень многие... Помнится, история жены доктора Белого. Она поехала к нему из Петербурга тогда, когда еще не было железных дорог. Несколько месяцев провела несчастная женщина в тяжелом пути, считая, что концом ее мучений явится г. Верхоленск, найденный ею на карте Сибири. И когда, наконец, она добралась сюда, то узнала, что мужа ее в Верхоленске нет, что он в Верхоянске, а что до Верхоянска нужно ехать еще столько же, но дорога тяжелее и ужаснее. Это так подействовало на растерявшуюся, одинокую женщину, что она сошла с ума и скончалась в Верхоленске... И сейчас на верхоленском кладбище высится старый черный, весь в морщинах и трещинах, крест над ее страдальческой могилой...

Теперь Верхоленск и Верхоянск смешивают, главным образом, почтовые чиновники и почтальоны, создавая тем бесконечное, на долгие месяцы, запоздание писем для жителей Верхоленска...

Но, несмотря на отсутствие ссыльных в Верхоленске, политическая ссылка наложила свою печать на этот край.

Я не говорю о таких заурядных явлениях, как то, что здесь много мастеровых и лавочников из бывших политических ссыльных-рабочих. Нет, здесь можно много наслышаться и рассказов про политических.

Когда мы выехали за околицу Верхоленска, у колеса возка отвинтилась гайка, и мы чуть не вывалились. Я попросил ямщика помочь мне снова уложить вещи. Глядя на мой чемодан, ямщик, ухмыляясь, произнес:

— А что, ведь в этом чемодане можно политического увезти...

— Как так?—спросил я—не увезешь, задохнется и не поместится.

— Чего не поместится?—засмеялся ямщик.—Я сам раз вез из Александровской каторжной тюрьмы... И как это они—государственные—ловко устроили. Когда освобождали двух, стали осматривать их вещи. Они и показывают большую корзину, полную книг... А под книгами-то живой человек лежит.—Потом мне надзиратель рассказывал.—Офицер посмотрел и говорит солдату:—Ну, ладно, будет. А солдат в ответ:—«как прикажете, ваше высокородие,—я могу разыскивать по всему свету и могу ограничиться ничем» Так и не посмотрели. Вынесли корзину. Тяжелая, страсть. Один из государственных даже еще смеется.—Экая у тебя корзина тяжелая, сколько книг ты собрал! — И что вы думаете, до сих пор понять не могу, как это он там поместился, в какой только калачик человек может превратиться! А, ведь, и политический был важный—в каторгу шел... Привязали корзину сзади. Покатили. Сидят эти двое, молчат. Приехали на станок. Начали мы перекладывать вещи, кладем на землю. Все ничего. Только поставили и корзину, вдруг собаченка, как подлетит, и ну на корзину лаять!—Фу, ты, леший. Сколько вещей на своем веку перекладывали, никогда на них собака не лаяла, а тут так и хочет вцепиться!—Писарь мне и шепчет:—Надо бы посмотреть, что там такое у них в корзине, нет ли убитого. В это время подходит один из них и этак спокойно говорит:—«посмотрите, как собака на корзину лает, видно, мышенок в нее забрался. Сколько крыс и мышей у нас в тюрьме было!» Как сказал, так писарь и успокоился, видит, дело без утайки!.. Ну, корзину и увезли. А потом разбирай,—что там—мышенок или человек был!.. Под вечер они ехали, ночью взяли дружка, корзину в телегу поставили и выпустили.—Дальше втроем поехали ..

На расстоянии между Верхоленском и Киренском, т.-е. на 1.200—1.500 верст, нет ни одной больницы. Простая лихорадка или острый ревматизм могут оказаться здесь неизлечимыми, мучительными болезнями, так как нигде по пути не найти ни хинина, ни салицилового натра. Можно себе представить, что переживают в этом медленном пути изнуренные тюрьмами политические ссыльные,

идущие часто без достаточной верхней одежды, выхваченные из дому без всяких запасов не только лекарств, но даже продуктов.

Мы проезжаем деревню Качтенево, раскинувшуюся на берегу Лены. Здесь единственная на всей бесконечной реке водяная мельница...

Дорога все еще бежит по берегу Лены. Те же красные скалы, те же лужайки берегов. В узких местах дороги, где она жмется к скале над водой, уставлены даже заборчики из столбиков с перекладинами. На том берегу тянется пологим покатом тайга... И, несмотря на столбики и заборчики, все это разительно глухо и пустынно..

Мы приближаемся к Жигаловой. На одном из станков девочка выносит в грязной миске землянику.

— Купи, дальше нигде не будет. Губернатор ехал—тоже брал,—убеждает она меня.

— Я бы взял, если бы к ней сливок достать и сахара...

— И губернатор тоже брал молока; постой, я тебе тоже столку сахару.

— В чем же ты столкешь?

— А вот в платочке, с головы сниму и столку.

И заметив, что я гляжу на нее с колебанием, девочка мне говорит:—чего ты сумлеваешься?—Я и губернатору в платочке толкла, он две тарелки попросил, дал тридцать копеек... Больше нигде земляники не будет!

Я решаю, что раз сам губернатор пользовался толченым сахаром из ее грязного платочка, то, очевидно, и мне не пристало отказываться, тем более, что рот все равно полон самой возмутительной пыли. И, заедая «в последний раз» землянику, я думаю о том, в какой глухой угол еду, если губернатор, возвращаясь оттуда, набрасывается на такое угощение.

Но вот и Жигалово—небольшая деревушка. На берегу Лены видны почтовые лодки, шитики.

Еду в сторону, к дальнему берегу Лены, на «резиденцию» Минеевых, откуда должен отойти их пароход.

Лошади останавливаются.

Удивительно любят сибиряки это слово «резиденция». Точно у них везде короли... Да оно, в действительности

так и есть, ибо эти резиденции всегда принадлежат денежным королям того или иного района. Резиденция Минеевых, Громовых, Коковиных и Басовых, Глотова, Сибиряковых... А поглядишь: просто на просто большой помещичий двор, хозяйство.

Я иду к королю Минеевской резиденции узнать, когда пойдет его пароход. Знакомлюсь с «самим».—Это еще сравнительно молодой, энергичный и любезный человек.

— Видите ли, — говорит он уверенно, — когда пойдет пароход — я и сам не знаю: я получил письмо от брата, пишет, что хочет приехать повидаться, вот и приходится подождать... И, заметив мое молчаливое изумление, а, может быть, и негодование, он поспешно прибавляет:— видите ли, пароход немножко за камни зацепил; нужно крылья поправить... Он совсем малютка...

— А как же пассажиры?—спрашиваю я.

— О, им будет прекрасно: для пассажиров барка с каютами, они все могут остановиться в ней и пожить. В ней удобно, очень, очень хорошо... Подождут денька два, три, четыре...

Я об'ясняю ему, по какому поводу еду, и прошу сказать по правде, когда и как мне ехать.

И молодой Минеев оказывается очень «добросовестным» человеком.

— Я сам не знаю, когда пойдет пароход,—сообщает он,—лучше поезжайте на лодке, дело будет вернее...

Делать нечего. Приходится ехать в лодке. Моя спутница решает остаться ждать пароход. Я наскоро прощаюсь с нею и отправляюсь нанимать проходной «шитик»— большую лодку с будкой посреди. Так советуют мне все, с кем ни заговоришь,—иначе не будет покоя: на каждом станке придется менять лодку, перекладывать вещи. Мне указывают хозяев «шитиков». Отыскиваю. За пользование «шитиком» уплачиваю вперед 10 рублей. Приехав в Уст-Кут, должен сдать «шитик» писарю почтовой станции. Никаких других хлопот. А, затем, почтовый пароход и уже до самого Якутска без пересадок!

Шитик—очень хорош. Посреди него—поместительная каюта с порядочными окнами, стол, скамьи...

Трогаемся. На веслах два гребца и рулевой.

Далее, до самого Якутска, на расстоянии почти трех тысяч верст, нет другого сообщения, как по реке. Правда, зимою возят на лошадях по льду Лены. Бывает, что в распутицу, между 15 сентября и 15 ноября, нет никакого сообщения, или возможно пробраться только местами и только верхом...

Не успеваем мы от‘ехать и пяти верст, как навстречу нам поднимается буйный ветер. Я уже проклинаю в душе, что взял такой большой шитик, с такой громадной будкой, торчащей против ветра, точно нарочито натянутый парус. Лодка медленно ползет... Начинаю томиться: первый станок—длиною в 30 верст...

Посреди станка, в тайге, одиноко торчит жалкая четыреугольная избушка с сарайчиком. Около нее расчищенная полянка и ничего более...

А кругом шумит глухая тайга, да валяются повсюду дерева бурелома—без коры и ветвей, иногда обгорелые, точно бревна от разрушенной после пожара постройки...

— Что это за домишко? — спрашиваю я моих «ямщиков».

— «Зимовье»...

— Для чего-ж оно?

— А так что зимой ямщикам и проезжающим холодно весь станок 30 верст без передышки ехать, иной раз замерзнуть можно, вот и заезжают. На зиму сюда один поселенец переходит. Есть самовар, чай всегда можно купить... И отогреваются... Хорошее зимовье!..

— Какой там хорошее! Избенка на курьих ножках!

— Да, вы, должно, не видали настоящего зимовья?

— Какого?

— Да такого, что по тайге везде!... –Стоит себе в тайге избенка, будто ведьма в ней живет. Пустая, холодная, нетопленная. Пол земляной, потолок и стены. Ничего кругом. Прямо ящик деревянный. Только камелек да дрова внутри сложены. Всякий, кто едет мимо, заходит, раскладывает огонь. Дыму больше, чем тепла. А отогреется,

обязан сам собрать дрова и сложить в зимовье, чтоб тому, кто после проедет, можно было бы отогреться.— Не губи другого! Такой порядок заведен... Уходишь, двери притворить обязан. Да не помогает. Иной раз зайдешь в зимовье, а в нем—медведь: через крышу в трубу камелька забрался! Выгнал его кто-нибудь из берлоги. Тогда берегись!... Вот какие бывают «зимовья»! — Страшнее самого мороза... А такая теплушка—благодать!..

— Ну, и благодать!..

— Не говори ты так! Везли мы этой зимою партию политических. По трое в каждом возке да по жандарму. Как схватили их, так и повезли. Одежда плохенькая. А мороз страшный, лютый, больше сорока градусов, говорили. Где ямщики сжалуются, дадут дохи, а где нет, и так едут: понадевали на себя все, что есть, в одеяла, подушки закутались... Мы то свою одежу дали, да одному— Габронидзе грузину, из теплых краев, не хватило. Вот проехали верст восемь,—он и завопил. Ничего не умеет по-русски.—Кричит: «скандал!»—и баста. Другого слова не находит. Потом даже плакать начал... Один товарищ его, тоже политический, снял с себя, что пришлось, другой тоже снимает. Мы кричим: «что вы делаете, замерзнете, нельзя раздеваться»! Накинули они на грузина—не помогает. Видим, плохо дело: затих, заснуть может, замерзнет. Начали мы гнать лошадей... Неслись, как ветер! Вот приехали к этому самому зимовью. А он увидал его, пришел в себя и снова давай кричать свое: «скандал!» да «скандал!»...

Вошли в зимовье. А там огонь разведен, тепло, самоварчик стоит. Как увидал грузин, обрадовался страшно, сам не свой, бегает по зимовью, танцует и от радости кричит: «долой, долой!»... Слово второе сразу нашел!

— Как?

— Да так и кричит:—долой, долой!—Он с политическими все шел, ну заметил, что, как те развеселятся или соберутся вместе, так сейчас и кричат—«долой содержание! долой самодержание!» Он от них это слово и перенял. Только два слова по-русски и знал: «скандал» и «долой».

Вот оно какое веселое место это зимовье... И немой заговорит!

— Ну, а что было с ним дальше, замерз или нет?

— А кто ж его знает—наше дело ямщицкое. Достали и ему тут, вроде дохи, московский тулуп от поселенца. Сжалился. Мы потом привезли ему обратно...

Целый день проходит в пути первого же станка. Тридцать верст мы едем десять часов! Если так будет дальше, вместо двух-трех суток придется ехать восемь.

Расспрашиваю ямщиков. Они советуют бросить «шитик» и двинуться дальше на самых маленьких почтовых лодках, снимая верх, чтобы не мешал ветер. Так и делаю...

Ямщики поснимали шапки от жары и смеются, что меня в деревне примут за священника. Они всегда снимают шапки, если везут священника.

Когда навстречу дует сильный ветер, я беру трех гребцов и пару лошадей с ямщиками на них. И лодку тянут бичевой.

Оба берега Лены, высокие и крутые, покрыты темно-зеленой тайгой, ползущей на самые неприступные скалы и покрывающей верхушки их шапками из темно-зеленого каракуля... Но иногда на берегах, когда сопки уходят вдаль, раскрываются прекрасные сенокосы... По прежнему попадаются красные горы с красными прослойками, лежащими, как графит. Иногда на горах тайга становится фиолетовой—это выжженные леса. И нигде нет горизонта. Каждый момент река кажется озером, кончающимся тут же около гор... Безлюдье поразительное... Построек в пути никаких. На берегу попадаются только вороны и черные цапли. Деревушки жалкие, серые, без деревьев, разнообразятся лишь новыми постройками из свежего леса.

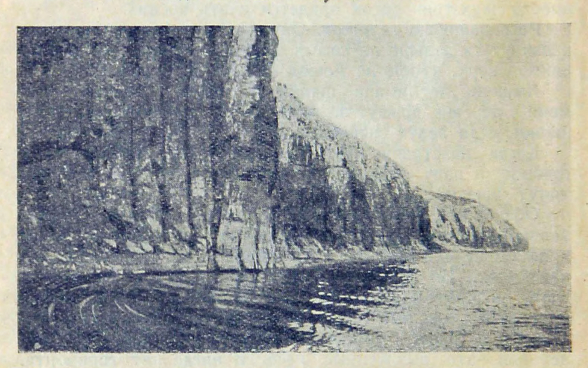
Но на станках-деревушках (других нет) во всякое время дня и ночи ждут и староста, и писарь, и дежурные ямщики-гребцы. И бегать в поисках их не приходится... Гребцу полагается плата такая же, как лошади: по 4 коп. верста.

Ночью на Лене отчаянно холодно, находит густой туман. Я не запасся меховой одеждой. И несмотря на сере-

дину июля, дрожу от холода в осеннем пальто и одеяле... И становится жутко... Угрюмая тайга делается совершенно черной, горы тяжело нависают над рекой... Куда ни глянь—непролазное, глухое безлюдье... Вперед на пятнадцать верст—ни души, а по сторонам на тысячи верст брошенная всеми, кроме зверья, тайга...

Первой же ночью спрашиваю о чем-то ямщика, и он вдруг отвечает на прекрасном украинском языке.

— Как вы сюда попали?—изумляюсь я.



Берег р. Лены.

— За убийство. Отбыл каторгу на Сахалине, бежал с поселения,—спокойно отвечает он...

— И прибежали сюда?

— Нет, снова убил, семейство вырезал, в Усть-Куте каторгу отбывал, а здесь остался на поселеньи...

— Ну, а вы, здешний?—спрашиваю другого.

— Нет, калуцкий,—да я за пустяки,—так, за грабеж сюда пришел...

— А вы?—обращаюсь к третьему.

— Я больше за конокрадство и за кражи...

Этот раз у меня только трое ямщиков, так как на станке нашлась небольшая легонькая лодка.

— Ну, и компания же вас собралась, аховые все ребята!—говорю я, шутя.—Вам остается либо убить, либо ограбить меня!

— Не бойтесь, не убьем и вашим преимуществом не воспользуемся,—добродушно отвечает один из них,—мы теперь при деле, исправно держимся, товар сплавляем, приисковых возим.

На одном из станков, уже поздней ночью, когда я тороплю дать поскорее ямщиков, писарь вдруг медленно поворачивается ко мне.

— Что, господин, вы не боязливый?

— Как когда,—изумленно отвечаю я.

— Ну, так этот станок вы можете проехать на прямик, по берегу, тайгой. Это будет много скорее. Часа три выгадаете. А может и больше! Наш станок—отчаянный, много камня, особенно под водой, лодку ночью гнать никак нельзя, легко распороть. И река крутится... Только согласятся ли ямщики везти. Дороги проезжей собственно нет... Так, осенняя верховая тропа... Попробуйте, поговорите с ямщиками.

Я иду в ямщицкую избу. Многие спят вповалку, некоторые сидят. Спрашиваю, не согласится ли кто-нибудь свезти на лошадях, предлагаю двойную плату. Все сразу же, не вступая ни в какие переговоры, угрюмо и наотрез отказываются. Но один будит несколько спящих. Все просыпаются, обступают кругом. Я излагаю свое предложение.

Соглашается везти молодой, жизнерадостный паренек, лет шестнадцати-семнадцати.

— Дашь за четверку лошадей?—спрашивает он.—Повезу на паре, повозкой. Дашь?

— Дам. Беги скорее запрягать, да положи в повозку побольше сена.

— Ладно.

— Куда ты, болван, собрался?—накидываются на него ямщики.—Что ты ошалел, что ли?!

Но паренек не слушает их и убегает.

— Чего вы на него кричите?—обращаюсь я к ямщикам.—

— Не какое дело, значит! — Понимаешь: — на пол-дороге медведь—сохатого задушил. Видно, вскочил на него, сохатый и понес. Медведь-то одной лапой за шею вцепился, а другой на пути все молодые деревья с кореньями повырывал... Так и лежат. Половину сохатого медведь унес, а половину туши оставил. Вся шея когтями изодрана, около дороги валяется. Ночью может прийти...

Возвращается обескураженный паренек.

— Не могу ехать,— говорит он смущенно.—Отец пускает, а мать плачет, боится медведя... Очень их у нас много.

— Ничего, поедем, у меня с собою превосходный револьвер—14 пуль можно выпустить, хоть какого медведя уложим. Иди, скажи. Может, пустят.

Парень убегает и возвращается ликующий. — Едем! Сейчас привезут повозку. В руках у него зажженный фонарь.

Действительно, несколько человек волочат небольшую повозку. На ней положено свежее душистое сено.

— А где же лошади?—спрашиваю я.

— Погоди, уложим вещи, сейчас и приведут.

— Ну, так укладывайте вещи так, чтоб можно было лежа спать,—говорю я и уже мечтаю, как хорошо будет валяться на свежем сене.—Точно на Украине... Ночь. Воз поскрипывает, покряхтывает. Волы медленно плетутся... Над головой чудное, звездное небо... А в голове дивные, как ясный сон, мечты... Хорошо!..

Ямщики увязывают веревками вещи и так крепко притягивают их к повозке, что я начинаю протестовать.

— Нельзя,—отвечает ямщик,—растеряешь иначе все. Это держаки тебе устроили.

Наконец ведут лошадь. Маленькую, волосатую лошадку держат под уздцы два дюжих ямщика, точно невыезжанного заводского жеребца. Начинают запрягать в оглобли; два ямщика попрежнему держат коника. Он—запряжен. Точно также приводят пристяжного. Все готово. Перед обоими кониками стоят три человека. Меня этот «спек-

такль» упряжки положительно занимает.—Стоит-ли так возиться с такими лошаденками?!.

Мой молодой ямщик садится, прибирает к рукам вожжи.

— Ну, налаживайся!—говорит мне какой-то старик.— Теперь покрепче берись за держаки и не выпускай из рук. Готово?

— Готово!— весело отвечаю я.

Средний ямщик степенно отходит. Двое других неожиданно отскакивают в стороны!

И начинается бешеная скачка. Лошади несут.

Украина, сено?!. Где там! Вся дорога засыпана прибрежной «галькой»—крупным щебнем, выброшенным сюда Леной...

Повозку нещадно кидает из стороны в сторону, все тело мое разбито, руки слабеют, и я постоянно мысленно кричу самому себе—«спасайся, кто может!»

Нас бросает в какой-то ручей, лошади мигом выносят из него и снова начинают бешено колотить о гальку.

— Стой, стой, придержи!—кричу я не своим голосом ямщику.

Он оборачивается ко мне, и я вижу оскаленные зубы.

— Удержишь!—кричит в свою очередь парень.

Я чувствую, что начинаю падать духом. С меня льется пот, точно я выдерживаю отчаянную борьбу...

Лошади начинают утихать. Мы вылетаем в открытую падь. Чуть-чуть светает. На Лене стоит белый и густой туман... Перед глазами впереди торчит высокая крутая сопка.

— Куда же мы теперь поедем?—спрашиваю я.—Неужели на эту гору?

— Да...

— Что же, тут есть какая-нибудь боковая дорога?

— Нет, прямо. Разгоним лошадей,—отвечает ямщик.

И когда мы добираемся до середины пади, ямщик оборачивается ко мне и говорит:

— Ну, держись покрепче!

Ямщик поднимается, начинает гикать, свистать. И лошади уже несутся полным карьером. Сначала слышен

топот их ног, такой, точно детской лошадки на качалке, но скоро этот топот переходит в мелкую дробь, лошади вытягиваются и уже несутся по воздуху...

— Держись, держись! Крепче!—кричит мне ямщик, не оборачиваясь.

Мы подлетаем к горе!

Я вцепляюсь изо всех сил в веревки! Это какое-то сумасшествие!

— Стой! Стой!—стону я и чувствую, что еще минута, руки не выдержат и я свалюсь через спину вниз головой с повозки!..

Лошади полным карьером выносят на эту страшную, недоступную гору и останавливаются на ее вершине. Они трясутся, точно в сильной лихорадке, с них валит пар, они все в пенистом мыле и тяжело, хрипло дышат.

— Ты с ума сошел!—говорю я, полный негодования.

— Нельзя иначе,—отвечает ямщик.—Посмотри на дорогу, над какой пропастью идет. Чуть колесо в сторону— на пол-аршина и от нас ничего не останется!

— Тем более нужно осторожнее ехать!

— Нельзя иначе. Медведь может на дороге встретиться! Лошади тогда в Лену сбросят. Слышишь, внизу, под туманом, вода о камни бьется!?. Я ехал раз по ровному ночью. Вижу, посреди дороги два зеленых круглых огонька, вроде звездочек... Лошади сразу стали, захрапели, попятились в сторону и ни с места! Так всю ночь простоял, пока сам медведь ушел... Надо гнать!

— Слушай, ямщик, а с горы нам с'езжать придется?!

— Да, вот, сейчас.

— И крутая?

— Такая самая.

— Ну, так ты с'езжай тихим шагом, да поосторожнее. Я еще никогда не ездил на такие горы, никогда и не с'езжал.

— Нельзя, надо гнать! Медведь...

— Ну, так я сойду пешком, а ты себе поезжай, подождешь внизу.

— А припас?—Ты сказал, 14 пуль! Я без припасу не поеду. У нас этот станок ямщики на лодках с ружьями ездят.

Бывает, медведь подплывает, река тут мелкая, боятся... Я без припаса не поеду, поверну назад. Там за горой внизу сохатый лежит!..—Ну, держись покрепче, упрись ногами в передок.

Лошади рванули и мы понеслись в пропасть! Мне случалось спускаться на под'емной машине в шахту, когда ее неожиданно вдруг пускали чересчур быстро вниз.

Точно внутри все обрывалось, дух захватывало! А тут!.. В эти минуты я проклинал не только мои сладкие мечты о поездке на сене, но давал себе зарок больше так не ускорять дороги...

Иногда мне казалось, что я стою, а не лежу или сижу...

Мы снова окунулись в какой-то ручей, снова зашумела ужасная «мостовая» из гальки...

Лошади пошли тише. Ямщик заерзал, засуетился, начал оглядываться по сторонам.

— Вынимай припас, приготовь пули!

Мимо промелькнуло несколько сломанных верхушек молодых деревьев, вырванных с корнями и обгрызков, но сохатого не было видно.

Мы благополучно добрались до станка.

— Как же ты поедешь назад?—спросил я парня.

— Буду ждать утра и попутчиков, сам не поеду,—отвечал он, весело смеясь...

На утро мы встречаем почту. Ее тащат бичевой три лошади. В лодке пять гребцов. Все взрослые, могучие ямщики, но среди них у носа загребает баба в белом платочке.

— Почта идет!—говорит ямщик.

Посреди лодки куча брезентовых мешков. Около них стоит почтальон с револьвером и кинжалом у пояса. Почтовый чиновник машет фуражкой. Мы раскланиваемся.

— Ишь, подлецы! — ворчит ямщик.—Взяли таки, проклятые, бабу!

— А что?

— Да тут так всегда мужики: назад будут ехать, на лошадь бабу верхом посадят, пусть тащит бичеву и коней ведет, а сами, небось, полягут спать. А без бабы руга-

лись бы, кому лямку тянуть,—всякому неохота... Хорошо, когда баба есть!..

По обоим берегам идут теперь то поля, то луга. На светло-зеленом ковре высятся темные ели, стройные, остроконечные, точно кипарисы, густо заросшие от самой земли, как украинские тополя без стволов... Иногда берег покрыт молодыми разбросанными березками...

Теперь мы плывем узким протоком и мне кажется, что я еду по милому Пселу, около Сорочинец... Вода прозрачная, на две сажени видать все дно, засыпанное галькой. На дне иногда валяются затерянные или брошенные пассажирами вещи. Я видел—целую тарелку, жестяную крышку чайника, коробку от сардин...

На пологом, заливном лугу, недалеко от станка, я заметил несколько молодых баб. Они сидели в траве и курили. По этому поводу от ямщиков узнал, что в Сибири женщины-крестьянки курят многие...

Пока меняются гребцы, я стою с писарем на берегу.

Мимо тянется к Жигаловой лодка, полная сухих кож.

— Что это такое?—спрашиваю я.

— Для интендантства, на войну везут, — отвечает писарь.

— Для чего? Ведь там некогда шкуры выделывать!

— Да, но ведь там некогда и быков живых считать!..— отвечает он и ехидно смеется.—Работают!..

— Слышали, как у нас, тут, около станка один политический бежал, — продолжает он начатый ранее разговор,—тоже, по шкуре—по одежде, за живого считали...

— Нет, не знаю, ведь я проезжающий... Ничего не слышал.

— Знаете, хотя у нас здесь какая-то бестолковщина— днем жарко, а ночью снег, сегодня осень, а завтра зима, и когда кончилось лето не разобрать, но все-таки весна бывает, половодье — настоящее, и тогда паузки, этакие барки с каютой, от Жигаловой ходят!

— Вот везли этой весною партию политических. Офицер вел ее. Конвойных куча. Смотрят в оба. Близко к станку не пристают, а если останавливаются, то все у открытых

берегов, чтоб дерева не было, да чтоб некуда было скрыться. Вот задумал один политический бежать, а товарищ студент ему и говорит: я тебе помогу. Сговорились. И стал он, знаете, при конвойных остальным товарищам хвастаться силой своею необыкновенной. «Я,—говорит,—свободно могу вырвать любое дерево с корнями, только бы руки охватили. Нужно, конечно, умение». Кто из товарищей ничего не знает, по чистой совести смеются над ним. А он упрямо стоит на своем—«вырву дерево, любое вырву»—и баста. Многие идут в пари. Все заинтересованы. Солдаты тоже. Диво-то какое! Уж и солдатам не терпится пристать к такому месту, где бы хоть одинокие деревья были. Может, заметили там, повыше, бабы у меня наняты—сено косят. Около этого места и случилось. Там несколько небольших деревьев есть. Солдаты сами наладились сюда пристать. Вот вышла партия на берег, стала около деревца, солдаты цепью окружили политических. Заговорщики и говорят студенту: «ну-ка, покажи нам свою молодецкую удаль! Вырви ка с корнями это деревцо, которое поменьше». Подошел студент к дереву, взялся за него, покряхтел, покряхтел, ничего не выходит. «Надо,—говорит,—на руки поплевать!» Поплевал, этак, с расстановкой, и взялся снова за дерево. Ничего. Все громко хохочут, потешаются! Солдаты потеснее подошли, никуда не глядят по сторонам, на носки даже поднялись, чтоб виднее было. А студент уже пиджак снимает,—говорит, что под мышками жмет, мешает. Снова поплевал на руки и за дерево взялся... Смех отчаянный стоит! В это самое время тот политический, что бежать собрался,—присел около самого конвойного и на землю лег. Между конвойными-то расстояния всего не больше аршина - двух, да только не смотрят они на землю, глаза в дерево вперили! А студент уже жилет снимает, говорит, «очень тесен ему, оттого и дерева вырвать не может!» Веселье общее всех захватило. Каждый остроту свою спешит выпалить. А тем временем политический за цепь между самых ног солдатских прополз, добрался до кустика, шагах в десяти от них и залег. Лежит себе, кругом веточки, траву щиплет, покрывает себя, чтоб не так заметно его было. Место голое,

деревьев мало, скрыться или уйти некуда, ну и с паузка увидеть могут. Тут рожок с паузка раздался—пора ехать! Все на паузок повалили, а что нет его, и не заметили. А студент дерева так и не вырвал!

— Вот, двинулся паузок, солдаты на поверку пошли. А товарищи его не промах! На нарах, где его койка, положили разную одежду, чучело человеческое сделали, одеялом с головой накрыли. По бокам легли товарищи. Входят солдаты. Старшой выкликает. Вот тот, что рядом с чучелом—шкурой, сказать, за место живого,—поднимается на оклик и чучело будить начинает. Сосед же другой из под одеяла стонет — «не могу»,—говорит,—«встать, голова болит!»... Как дошла очередь до этого соседа, он встал, откликнулся. Так солдаты и ушли, ничего не заметили. А на завтра снова то же устроили. Только, вместо бежавшего, живой лег, а на его койку чучело положили. Как вошли солдаты, стали перекличку делать—живое-то чучело под одеялом и заворочалось, руками задвигало. Солдаты и успокоились. Ушли. Так двадцать дней тянулось. Все поверки благополучно сходили. Да как-то зазевались. Старшой чучело сам за плечо взял!

— Чуть не упал на месте от испугу! Видит, побег!—Тут политические его обступили и говорят: наш бежал уже две недели назад. Теперь не поймать все равно, а если сразу скажете, быть вам, конвойным, в большом ответе, давайте покроем, устроим так, будто утонул. Ничего старшому не оставалось делать,—пришлось согласиться!—Сам мне бедняга все это рассказывал, ему политические в чистую дело открыли... Тоже в заговорщики попал!...—Набрали они на берегу побольше гальки, завязали с концов штаны, наклали каменьев. Один ночью вынес эти штаны да шапку бежавшего наверх (старшой его незаметно пропустил), бросил с размаху все в воду, закричал отчаянно—«тону, тону!» и скорее вниз спустился. Поднялась тревога, бросились все на верхнюю палубу, прибежал офицер. Кричат: «утонул, утонул, товарищ утонул!» Спустили лодку. А тут с плотов тоже под‘ехали, вытащили из воды его фуражку и подают.—Видали, говорят, как человек в воду бросился. Офицер приказал обыск сделать, не спрятался ли кто-ни-

будь—может, так только проделали для виду. Но тут старшой поддержал:—«сам видал, как в воду бросался!» Сделали перекличку. Видит нет того, бежавшего. В женском отделении, да и на мужском многие ничего не знали. Услыхали, что товарищ утонул, плач подняли, настоящий плач!—Конвойный офицер, видит, плачут и успокоился, поверил!... Ну, а политический-то этот благополучно себе и бежал.

Нигде у нас не было слышно, чтобы поймали... Никто «утопленника» не искал... Да что этот побег!... Заезжайте-ка в Усть-Куте на каторгу. Все равно придется ждать пароход, будет время на извозчике с'ездить. Интересно посмотреть. Вот где побегов-то наслышитесь!...

III

Политические в тюрьме. — Побеги. — «Американский» брак политических. — Еще побег. — Политические на паузке.—Побег Ф.—Предания берегов Лены. — Приленский поп. — Нечаевский солдатик. — Усть-Кут.—Около каторги.

Как-то в Якутске когда мы оба, товарищ и я, были всецело поглощены защитой по романовскому делу, к нам на квартиру пришел незнакомый ссыльный и сообщил, что, по точным сведениям, полиция собирается ночью сделать обыск у всех политических, собравшихся в город или живущих в его окрестностях; он спрашивал, разрешаем ли мы ссыльным принесть к нам на сохранение их вещи, книги.

Мы согласились. И вот, ссыльные начали «приносить». Ничего подобного мы не ожидали. Я не говорю о кучах запрещенных книг и периодических изданий! Они принесли к нам кучу фальшивых паспортов! Один паспорт был еще мокрый, издавал сильный химический запах и лежал между двумя листами промокательной бумаги. Когда все это было разложено на стульях и столах, политические ушли, чтобы не мешать нам заниматься работой. Товарищ отправился к себе в кабинет. Как некоторые вдумчивые люди, он был вместе с тем и большим юмористом, отчаянно любил всякий комизм... Я был уверен, что он уже готовится к речи... И вдруг услышал отчаянный хохот товарища. Он звал меня. Горя любопытством, я побежал к нему и застал его с новым уголовным уложением в руках!

— Полюбуйтесь ка,— сказал он, смеясь,—что нас ожидает, если все это найдут на наших столах и припишут

нам! Ведь каторгою пахнет! Вот уже подлинно приехали защищать, нечего сказать!...

В другой раз мы как-то поздно засиделись в тюрьме у наших подсудимых. По городу ходить вечером без оружия было чрезвычайно опасно. Много поселенцев. Грабежи казались настолько естественными, что никого не удивляли. На этот раз мы рассчитывали пробыть в тюрьме не долго и вернуться домой засветло; револьверов и палок с собой не взяли и потому, когда увидали, что уже позже 12-ти часов ночи, спросили подсудимых, нельзя ли раздобыть где-нибудь хотя палки.

— Зачем вам палки? - сказал кто-то из них.—Мы дадим вам хорошие заряженные револьверы!

Они обвинялись в вооруженном восстании, их буквально сотни раз обыскивали, оружие иметь в тюрьме, конечно, было невозможно, начальник же тюрьмы славился проницательностью и формализмом, и, тем не менее, как ни в чем не бывало, они предлагали нам заряженные револьверы!

Помню, тогда меня это поразило. Но потом такие факты перестали поражать.

При мне обыскивали партию отправляемых политических романовцев. Солдат в присутствии владельца вещей—политического Бодневского и караульного офицера—осматривал мешок с тюфяком.

— Брось,—сказал Бодневский,—чего там рыться, видишь сам—тюфяк!

— Ну, понятно, брось, тюфяк, чего там!— заметил офицер.

И солдат, поднимаясь от мешка, проворчал:—«Да-а, тюфяк! А потом этот тюфяк и выстрелит!

Он был прав, хотя сам и не ведал того. В тюфяке действительно хранилось несколько револьверов!...

Побег— это заветное желание всякого политического, ибо вынужденное безделие, конечно, томит их несравненно более, чем уголовных ссыльных. Они рвутся к брошенному делу, за которое готовы погибнуть, но не прозябать. В основе всякой революционной деятельности лежит недовольство окружающей жизнью, стремление к борьбе,

активность, а не пассивность... Цель же всякой ссылки воспитать пассивность, убить живой, «преступный» дух!

И потому, несмотря на все меры строгости, на беспощадный сыск, на перлюстрацию писем, на залеживание конвертов с письмами в карманах исправников и заседателей, в самых далеких местах ссылки можно неожиданно найти и готовые бланки паспортов для побегов, и нелегальную литературу, и хорошую карту края, т.-е. не столько хорошую, сколько лучшую из существующих. Изобретательность в этой области у ссыльных изумительная. Никакой юрист не выкопает таких блестящих обходов закона, как они.

При мне, например, состоялся чисто «американский» брак на два месяца с целью побега. Она была административно-ссыльная. Ее отправляли на пять лет в Верхоянск— эту могилу заживо погребенных. Но, за отсутствием пути, она задержалась в Якутске. Его (Рабиновича) только что осудили на каторгу за участие в восстании и пересылали в Иркуртск—на юг.

Каторжная тюрьма находилась в Александровске, т.-е. еще южнее и западнее, а, следовательно, и ближе к России. У железной дороги!.. Верхоянск от Якутска — месяц тяжелого пути. Побег оттуда невозможен!..

Однажды утром товарищ будит его.

— Кузьма, хочешь жениться?

— Нет.

— Будет приданное—бутылка водки и фунт колбасы,— шутит товарищ.—Знаешь, жена по закону следует за мужем. Женись. Все равно, ты отказался подать апелляционный отзыв на приговор. Через две недели он вступает в законную силу. Женись. Ее отправят за тобой обратно до Иркутска. На казенный счет. А затем, когда ее довезут до Александровска, она подает заявление, что так как ты осужден на каторгу с лишением всех прав, она просит развести ее с тобою. И ее сразу же разведут, без всяких консисторий. Женись. Я буду у тебя посаженным отцом. Вместе с тобой и кутнем.

Кузьма дал согласие.

Уже накануне свадьбы при мне зовут Кузьму на свидание.

— Вы к невесте?

— Нет, к земляку

— А отчего не к ней?

— Да нам с ней долго говорить не о чем!

Они повенчались, и «жена» последовала за мужем. А затем бежала из Александровска.

Понятно, что при таком отношении к побегу, для успешности его, необходимо лишь усыпить бдительность надзора непосредственных стражей, раздобыть деньги на дорогу. А за паспортом и помощью товарищей дело не станет.

Но побег из Якутской области почти немыслим, благодаря отсутствию дороги по берегу, необходимости ехать в течение 12 - 14 суток только на пароходе по Лене, полной возможности для администрации «догнать» по телеграфу и, наконец, бешеной дороговизне пути. Менее, чем за 500 рублей от Якутска до Петербурга не добраться!

И побегов из Якутской области почти никогда не бывает, а если и бывают, то являются настоящим событием...

Для того, чтобы уйти от стражи, прибегают к разным приемам.

Один знакомый ссыльный Z. бежал, благодаря тому, что его сожитель умел хорошо передавать чужой голос.

Все ссыльные этого «городишки» приютились в одном большом доме с мезонином, выстроенном еще декабристами. Такие «двух-этажные» дома, хотя бы и в Киренске, попадаются.

Z. занял мезонин. Товарищи поселились в нижнем этаже.

Сначала исправник требовал, чтоб они каждое утро являлись в полицейское управление «показаться». Они все наотрез отказались исполнять это «приглашение». И каждое утро к ним начал приходить «политический надзиратель». Первое время Z. спускался вниз расписаться на листе бумаги, а затем стал кричать сверху — «дайте мне сюда лист, я вчера весь вечер работал, не хочу сходить». Ему стали подавать. Надзиратели или товарищи

выкликали его «сверху», он показывался в люк лестницы, соединяющей мезонин с передней нижнего этажа, никогда не спускался и только просил дать бумагу. Товарищ поднимался и передавал. Зато, расписавшись или вовсе не показавшись надзирателю, Z., спустя некоторое время, выходил на улицу погулять. Каждый вечер исправно он зажигал у себя на мезонине огонь и ходил взад и вперед, громко стуча каблуками. И надзиратель, вечно торчащий у их дома, наблюдал его тень на потолке. В это время все остальные товарищи иногда уходили пройтись по городу. Скоро вся полиция «городишки» знала, что о том, дома ли Z., занимается или бродит взад и вперед, можно доподлинно узнать по его тени. Один из товарищей научился подписываться почерком Z. и начал иногда заменять его, крича сверху—«дайте сюда лист».

Когда все было приготовлено, Z. благополучно исчез, а вместо него принялся росписываться и томительно шагать по вечерам товарищ. Бедняга шагал 20 вечеров, пока Z. благополучно выбрался на широкую дорогу... Паспорт у него был заранее приготовлен.

— Если кто хочет бежать,—говорила мне одна бывалая политическая ссыльная, бывшая каторжанка, несколько раз совершавшая побеги,—тот обязательно должен помнить одно важное правило: хочешь бежать, никогда не беги, а всегда иди медленным шагом и тогда убежишь!..

Река Лена полна преданий и воспоминаний о побегах. Это—одна из любимых тем ссыльных. Зато, в свою очередь, встречные конвойные офицеры очень не прочь порассказать, как они были «на волоске» от жестокого ответа за побег конвоируемых и как им удалось во-время «накрыть» и изловить.

Мне известен вместе с тем случай, когда конвоиры «способствовали» побегу, сами того, правда, не подозревая.

От Жигаловой до Усть-Кута политических тоже везут на почтовых лодках с будкой, а затем уже отправляют на паузках. Но этот случай был весною.

На паузке — пятиугольном плоту, с невысокими прямыми, как заборчик, бортами и с четыреугольным большим ящиком—сараем посреди, везли партию политиче-

ских. Среди них была юная девушка Ф., как-то нелепо арестованная, нелепо сосланная. Всем было жаль ее. Она совершенно не знала жизни, не изведала ее, а жизнь впереди—была разбита! Она так рвалась на волю! И товарищи решили ее освободить. Условия перевозки скоро указали план побега.

На станках нигде нельзя пообедать. Когда как-то я спросил писаря: «можно ли здесь закусить?»—он засмеялся и ответил: «ягода брусника есть, соленый огурец достанете, если побегаете, ну, а насчет хлеба—теперь мужики не охотно продают». Зато, если где-нибудь на станке есть лавочка, в ней всегда найдется оружие, самые разнообразные патроны!

Но когда к берегу станка пристает паузок или баржа с ссыльными, все местное население обыкновенно высыпает на берег и всякий несет, что может продавать.—Ссыльные не жалеют денег!—Брусники, твердых, как кирпич, баранок, голубицы, молока.

Все эти бабы, девушки несут свой товар на тарелочках, мисочках, наполняют палубу паузка или баржи. Политических выводят на палубу, конвойные окружают их непрерывным кольцом надзора. И торг идет! Правда, иногда начальники партий—конвойные офицеры—отбивают у местного приленского населения этот рынок. Они сами устраивают на паузках собственные лавочки, где продают с большим «доходом» разную залежавшуюся дрянь; для того, чтобы ссыльные не могли покупать необходимые продукты по сносным ценам, они не пристают к станкам, а к глухим безлюдным берегам, где ничего нельзя достать. И ссылаемые вынуждены покупать все втридорога у торгашей-офицеров.

На этот раз офицер лавочки не устроил, ссылаемых не обирал, предпочитая развлекаться «впечатлениями бурных погод».

Ссылаемые воспользовались платьем одной работницы, добровольно следующей за мужем, живо перешили его на местный фасон, на одном из станков купили баранки с тарелочкой. Было решено, что, когда паузок начнет приставать к берегу, Ф. переоденется местной крестьянкой,

возьмет в руки тарелочку с баранками и, приседая, выйдет на палубу, окруженная сначала тесным кольцом политических, а затем рассыпанной толпой остальных.

Главное затруднение представлял один старшой—унтер-офицер, жестокий формалист, необыкновенно зоркий человек. Чтобы отвлечь его внимание, придумали натравить на него наибольшего задиру из политических. От ссоры и ругани унтер не был в силах воздержаться ни при каких обстоятельствах! Остальные часовые были заранее распределены между наиболее ловко умеющими занять салонным разговором. Все сошло, как нельзя лучше.

Когда паузок пристал к берегу, политические вышли на палубу. Их окружали часовые. Явились бабы. Задира около самого унтера сунулся за цепь, а когда тот осадил, руганулся. Ссора загорелась. Унтер, с налитыми кровью глазами, уже грозил заковать его в кандалы. В это время Ф. со своей тарелочкой спокойно подошла к самой цепи солдат. Увидя ее, унтер пришел в бешенство.—«Ты чего, проклятая баба, затесалась сюда!»—закричал он вне себя от негодования за такое нарушение распорядка, и, схватив Ф. за шиворот, собственноручно вытолкнул ее за цепь солдат. Раздался свисток. Вместе с местными девушками медленно и все так же спокойно сошла Ф. на берег... Вот мелькнул на косогоре ее белый платочек, вот она завернула к избе... Паузок отплыл. И политическими овладел дикий восторг! Удержать его не было сил! Нужно было сорвать. И грянула песнь—«будет буря, мы поспорим и поборемся мы с ней». Все подхватили ее и пели с таким захватывающим воодушевлением, что и часовые пришли в восторг. Сам строжайший унтер слушал, забыв о своей ссоре... И песнь победным кличем неслась по Лене...

— Сколько страданья, горя и сколько побед духа, мысли над ненужным гнетом и насилием видели эти угрюмые берега! — думал я иногда, глядя на них...—Вот знаменитые эхом и красотой, точно живые, каменные громады—«Щеки»... Все, кого везли мимо них, подавали им свой голос... Чернышевский, шлиссельбуржцы — Янович,



Политические на лодках по Лене (в лодке романовец Никифоров).

Панкратов, Шебалин, юный, благородный Минский.. И сколько *их*,—никому неведомо ушедших туда – в страшные тундры далекой Сибири, заметили только эти говорящие камни!..

Две обнаженные глыбы гранита, круто спускающиеся прямо к воде. Светло-желтые, с рудыми и красными, точно кровавыми, пятнами по щекам. На торчащей сбоку скале—узкие зеленые террасы, покрытые не то мхом, не то травой. А на верху каменной громады все та же жидкая тайга... Этот изгиб—«Кумовья вода». Здесь сильный водоворот. В весеннюю воду паузки тут крутятся и толкутся на месте, как подвыпившие кумовья, и выбраться отсюда никак не могут... А то—«Пьяные быки». Сначала около них разбилась баржа со спиртом. И он пролился в воду, бочки затонули... И долго после того тянулись сюда поселенцы, увы, в тщетной надежде даром хлебнуть пьяной водицы... Быстрое теченье Лены давно унесло и рассеяло всякие остатки спирта, когда около этих же камней разбился паузок с быками, плывшими в Бодайбо... И быки пошли на дно, туда, где в глубине лежали заветные бочки со спиртом... Спирт достался быкам. И с тех пор этот закуток Лены стал поворотом—«Пьяных быков»..

Вид реки меняется. Несколько голых гор с вершинами, густо покрытыми елями. Местами ели спускаются до середины и, наконец, попадаются горы, сверху до низу покрытые густой мохнатой зеленью. И тогда только у берега торчат к верху, точно жерди, серые стволы молодых усопших елей с приютившимися между ними пеньками свалившихся дерев, тут же валяющихся друг на друге в громоздящем беспорядке... Это опять—непролазная тайга. Теперь воду от густой, непроходимой заросли отделяет лишь узкая лента мелкого, серого, круглого щебня, расглаженного водой, словно умелыми граблями. Иногда горы уходят далеко и непроходимая тайга, густо проросшая у ног мелким кустарником, тянется по пологому берегу, забираясь на горы своими тонкими стволами постепенно, не спеша, точно ее несут туда школьники, идя на маевку с ветвями обновления жизни...

Вечереет. Берег становится темно-сумрачным. Весь гористый склон густо покрыт соснами беспросветно непро-

глядными, точно кипарисы... Лес сползает по склонам гор, нависает над громадными седыми камнями, смотрится в темную и блестящую реку. Камни все в трещинах и морщинах, тонких и глубоких, точно лицо дряхлой, много пережившей старухи.

— Вот,— говорит рулевой,—осенний тракт. Почту верхом тут возят.—И он показывает отвесную тропинку, вьющуюся по утесам...

— А мешки с письмами, посылками как же?—спрашиваю я, полный недоумения...

— Да их везут на качалках. К стременам двух коней подвязывают носилки и кони несут их, точно люди.

Узенькая тропинка сбегает на берег Лены, жмется у самого утеса по набросанным водой камням и галькам. По этим камням—пешком не пройти: нужны хорошие железные подковы... В некоторых местах ширина тропинки около аршина. Жутко глядеть. Правда, в опасных, головокружительных местах она «ограждена» жиденькими перильцами, скорее для того, чтоб знать, куда ехать...

— Однако,—говорю я,—если конь спотыкнется и свалится, живым не останешься!

— Ничего! У нас теперь на округу поп веселый—живо, ласково отпоет... Наведывается таки к нам...

— Чем так веселый?

— А так что, если выпьет, начинает, по своему, весело служить.—«Благословен бог наш, я ныне поп ваш. И ныне и присно—из Якутска прислан. Во веки веков—учить вас нюйских дураков!»—Хоть похороны, а всякий засмеется! А все-таки обидно...

— Чтож на него жаловались?

— Говорят, жаловались, да только ему—ничего: из грязи сухой вылезет! Наш станок все равно, что «Покойная коса»...

— Какая такая?

— Очень просто: покойной она зовется, так как ямщика тут бичевой убило... Мертвое место у нас, значит, никому нет охоты сюда ехать, ну, а люди зовут все-таки «веселое место».

— Отчего?

— Берег у станка плоский, горы далеко уходят... Тут так всегда говорят: если гор и тайги нет, веселое место...

Мы приближаемся к Усть-Куту. На всем перегоне от Жигаловой до Усть-Кута нигде нет поселенных политических. Лишь, начиная с Усть-Кута, попадаются их «колонии». Только раз за весь конец в 400 верст я узнал, что в станке многие годы живет «государственный». Его самого я не застал и не видал: он уехал в это время куда-то далеко на рыбную ловлю. Но судьба его очень заинтересовала меня. Из беглого рассказа писаря я осведомился, что это бывший солдатик, сторожививший вместе с другими в Петропавловской крепости Нечаева—«номер пятый». В конце семидесятых годов Нечаев создал крупную революционную социалистическую организацию. Его пожизненно заточили в Петропавловскую крепость, окружили самыми «надежными» жандармами и солдатами. Но Нечаев распропагандировал их. Заставил их носить в город письма. Открылось это случайно. Как Нечаев их «обошел», он и до сих пор понять не может. Сила у него в глазах была необыкновенная. Как взглянет, так человека насквозь видит, чрез одежу пронизывает! Слушаться хочется. Они и таскали от него письма Перовской—той, что государя с другими убила. Освободить хотели даже, но сам Нечаев не пожелал: помешает это, говорит, нашему делу, кинутся меня искать, весь Петербург перероют—нельзя. Так письмами из крепости всем делом и руководил!—Ехала Перовская на извозчике, ее схватили, в кармане адреса прачек солдатских нашли, а по прачкам до солдат крепостных добрались! Судили их. Спрашивает генерал: —как же вы этого Нечаева так слушались?—Не можем знать,—отвечают!—Да разве вы не знаете, что нужно распоряжений начальства слушаться?--Знаем.—Ну, так кого же вам нужнее было слушаться: начальства или номера пятого?—Номера пятого, ваше превосходительство!—отвечают. Генерал даже плюнул с досады!...

Усть-Кут. — Это городишка, напоминающий наши местечки. Жалкие лавченки на берегу, рундуки с таранью, есть даже колбаса и белый хлеб... Есть и деревянная тюрьма, окруженная заостренным кверху частоколом... Деваться некуда. Оставляю вещи в почтовой избе, нанимаю извозчика и отправляюсь осмотреть Усть-Кутскую каторгу.

Мы едем в бричке по зеленой лужайке берега реки Кута. На той стороне Кута тянутся прежние горы Лены с густой тайгой.

— Что же это за каторга? — спрашиваю извозчика,— давно ли она открыта?

— Не знаю, сказывают, будто давно, еще при царице Екатерине... Шли тут тайгой два беглых каторжника. Видят озеро. Решили отдохнуть, кашу сварить. Зачерпнули воды. Поставили на огонь котелок. А сами легли и заснули. Просыпаются, а в котелке белая, как снег, соль! В те времена все здесь рыбой одной питались, большая нужда в соли была, на зиму солить. Они и заявили. За это их от каторги освободили и деньгами от казны еще наградили... Тогда и соляную вареницу от казны устроили, каторгой сделали. С тех пор каторга здесь и оказалась...

— Ну, а сейчас на каторге этой политические—«государственные» есть?

— А кто-ж их знает! Хоть до каторги всего верст десять-пятнадцать не больше от Усть-Кута, а я там, почитай, лет шесть уже не был. От отца еще слышал, как ее бродяжки открыли...

— Ну, а в самом Усть-Куте политические теперь есть?

— Были, недавно еще были, да только с пол-года назад их отсюда разослали в другие станки. Не то что бунт был, а просто партию ихних мимо везли, они что-то воспротивились, свиданий что ли со здешними добивались, их солдаты отчаянно избили и увезли. Наши, значит, тоже поднялись, какую-то бумагу послали, их и засадили... Плохо я об этом знаю... Слышал только об одном... Не помню сейчас или раньше дело было — мудрено, значит, рассказывают. Сидел он в тюрьме. Вышел тут манифест. Приходит к нему начальство и об‘являет, что он свободен, может домой ехать... А он в ответ: — «не хочу

я манифеста, не пойду из тюрьмы!» Да... — «Ну, нет, — отвечает начальство, — «это не казенная богадельня, мы не можем вас здесь содержать».—«Тогда,—говорит,—покажите, что других освободили».—Показали ему. Он и вышел на волю. Ишь ты: молодой, а не хотел! — смеется извозчик.

Зеленая лужайка сменяется лесом. Мы снова выезжаем на такую же открытую, «веселую» поляну...

— Ну, вот и каторга, смотрите, видите, над тайгой купол церковный? Эта—каторга. Теперь недалеко!...

Мы, действительно, под‘езжаем к каторге.

IV

Каторга.—Пароход.—«Развлечения».—Рассказ о Н. Г. Чернышевском.—Встреча с политическим-доктором.—Встреча с колонией политических.

На той стороне реки Кута, по зеленому, пологому берегу, кроме церкви, разбросано несколько домов, избенок, каких-то построек, но—ни забора, ни полосатых будок, ни часовых... Все точно погружено в сон. Не видно даже людей. Мертвая тишина...

— Каторга, приехали,—говорит извозчик.—Только понять не могу, куда перевозчик девался. Надо бы покричать...—Э-эй! Давай перевозу! Да-вай! перевозу!...

Никто не показывается на том берегу. И две лодки заманчиво—тихо покачиваются там около «пристани»...

— А нельзя ли тут переехать через реку на лошадях,— предлагаю.—Как будто река хотя и широкая, а не глубокая.

И мы «на ура» переправляемся через реку в бричке. Два раза вода, наполняя ее, доходит до сидений. Тогда мы становимся на них ногами. Лошадей все время держим против течения.

Мы благополучно перебираемся на ту сторону и в это время встречаем подходящего перевозчика...

— Можно ли осмотреть каторгу?—спрашиваю я его.

— А что тут смотреть?—вяло отвечает он.—Проезжайте туда прямо, к дому смотрителя. Он вам все покажет.

— Проводите нас. Садитесь на бричку, а то, пожалуй, не найдем.

Он охотно соглашается и едет проводить, хотя кто-то уже кричит с той стороны — бесконечно длинное, безнадежное—«давай перевозу»!

Громадная площадь заросла хорошей зеленой травой. Налево зеленая же церковь с невероятно большими окнами. Направо виднеется домик с крылечком...

— Ишь, квасок кушают! — завистливо произносит перевозчик.

— Кто?

— Да сам смотритель. Вон, на крылечке сидит.

На крылечке, залитом солнцем, действительно сидит рослый коренастый человек в синей ситцевой рубахе. Около него на широких перилах решетки крылечка стоят бутылка и стакан. А на всей громадной площади, кроме смотрителя, попрежнему—ни души!

— Ну, я пойду назад,—говорит перевозчик.—Там меня зовут.

Извозчик лихо под‘езжает к домику.

Смотритель оказывается очень любезным человеком. Я об‘ясняю ему, что еду из Петербурга в Якутск на защиту (о том, что по политическому делу—благоразумно умалчиваю) и, как адвокат, интересуюсь каторгой... Он угощает меня квасом, громко зовет кого-то из-за дома, приносит ключи, и мы отправляемся.

— Что же вам, собственно, показать?—спрашивает он искренне недоумевающим голосом.

— Каторжные работы, каторжников...

— У нас каторжников сейчас нет! А работы показать можно,—«отрезывает» он.

— Как нет каторжников?!.

— Очень просто: уже два года сюда не присылают ни одного каторжника. Очень они отсюда бегали, их и перестали присылать... Двадцать первого июля 1903 года отсюда ушел последний каторжник—Василий Суровцев... Вышел на поселение... Есть еще поселенец — татарченок, тут околачивается, воду нам возит... А то никого, только служащие...

— А вы что же тут делаете?

— Да ничего, так, живем...

— И кроме вас еще кто-нибудь?

— А как же! Весь штат на местах. Так без дела служим...

— Что же вас куда-нибудь не переведут?

— Должно быть, о нас забыли... Знаете, в канцелярии дела много, легко и забыть...

— А жалование вам платят?

— Ничего, слава богу! Исправно...

— Не забыли?

— Нет, ничего...

— Кто же тут еще кроме вас этак служит?

— А вот управитель каторги тоже есть, только он сейчас в отпуск уехал.. А зачем уезжать? У нас здесь хорошо. Вон, в том большом бараке—общей каторжной казарме—крестьянский начальник теперь живет, сюда, как на дачу, с семейством переехал... Очень это приятно. Ведь, тут—безлюдье, каждый живой человек—уже гость желанный...

— Ну, а палач каторги тоже остался?

— Нет, у нас палача и в заведении не было. Тут арестанты даже без кандалов ходили. Так, на день, на два в наказание надевали...

— А пороли?

— Как же можно иначе? Но только у нас это было по-домашнему—дули прямо на земле розгами, без затей!—смеется он.—Ну, вот вам и варница. Хотите посмотреть?

— Хочу...

Он пробует открыть замок принесенным ключем и не может.

— Замок совершенно заржавел, —говорит смотритель,—никак не отворить! За два года всякий замок заржавеет, а тут еще соленая пыль в воздухе... Нет, никак не отворить! Что, вам очень хочется посмотреть? Если очень, то мы сломаем замок, все равно, он уже не годится.

— Ну, сломайте.

Татарченок, следующий за нами на почтительном расстоянии, уходит за варницу, возвращается с камнем и легко разбивает совершенно проржавевший замок. Запустение внутри—страшное... Громадный железный бассейн, в котором выпаривалась соль, стоивший казне многие тысячи рублей, совершенно проржавел и безвозвратно погиб...

Беспомощно валяются такие же проржавевшие «гребни»—длинные лопаты для сгребания соли...

За варницей находится небольшое соляное озеро. У плоских берегов озеро высохло, вода на них испарилась, и берега кажутся покрытыми снегом. По бокам озера растет красная травка «солянка», несмотря на жаркий день совершенно холодная. Да и около озера на солнце холоднее, чем в тени, даже по ту северную сторону варницы. Мы осматриваем колодезь, насос с проржавевшим, уже совершенно погибшим, неподвижным конным приводом... Желоба деревянные, но все гвозди на них тоже проржавели.

Осматриваем кузницу, столярную, слесарную... Все брошено, все железное безвозвратно негодно...

Осматриваем печи, устроенные под бассейном варницы, дрова. Они еще сохранились. Это громадные, толстые, двух-аршинные стояны под дом. Такое двенадцати-пудовое полено одному человеку не поднять. А таких дров выходило в сутки по 11 сажен. Их рубили в окружающей тайге. И за день успевали нарубить 30 сажен. Женщины только пилили дрова. Самая тяжелая, настоящая каторжная работа была—бросать дрова в печи и мешать гребнями соль... От нее больше всего и бежали...

— У нас здесь бывало до 90 человек каторжников,—говорил смотритель,—а казаков всего двое! Во время оно их было пять. Сами видите, забора нет... Не бежали только те, кому не хотелось или у кого сроки были короткие...

— И много бежало?

— Ого!.. Хотите посмотреть еще «Никольскую варницу?» она такая же,—спрашивает смотритель, указывая на громадный сарай с этой надписью над дверьми.

— Нет, лучше покажите кандалы...

— Они в амбаре. Идем!

И я вижу грязную кучу проржавелых цепей. К счастью, их никто никогда не будет больше носить. Они окончательно с‘едены ржавчиной!..

— «Скованы цепи... Кто же их будет носить?... Взятый ли в степи беглый, уставший бродить? Вор ли, граби-

тель, схваченный ночью глухой, или служитель братства идеи святой?..» [1].

Подлые цепи, — символ бесчеловечного издевательства над людьми, символ рабства—лежат предо мной, поднимая в душе негодование!

Но смотрителю это старое, ржавое железо, очевидно, говорит иное. Он берет из кучи первые попавшиеся кандалы.

— Ах, проклятый!—неожиданно произносит смотритель.

— Чего вы?—изумляюсь я.

— Видите, на них заклепки целые... Был тут у нас один подлец. Замечательно умел снимать кандалы. Как туго ни закуй, все равно снимет. Вот, обратите внимание, как хорошо были заклепаны, ведь, так и остались... Точно руки из мыла... Снял и убежал. Без всяких хлопот. А сколько нам было от этого беспокойства, отписки!.. Бежал и бросился не к Иркутску, как все, а к Якутску. Этим и ввел в заблуждение... Мы погоню туда за ним послали. А он, как ни в чем не бывало, в обратном направлении едет. Только, знаете, под Витимом один конвойный офицер его на пароходе узнал. Этот подлец сразу заметил. Вот пристает пароход к Витиму, спустили на берег сходни—две доски, не успели связать их вилками, как он бросился с парохода. Офицер—за ним! Да не тут-то было: он расшатал доски и сбежал. Несколькими прыжками так расшатал, что связать сразу никак нельзя было... А стрелять офицер не решился,—может, думает, я ошибаюсь, что вел его когда-то в партии... Кинулись его по городу искать. А он—не промах: заскочил в кабак, с татарином стакнулся, тот ему свою одежду уступил. Накинул он на руку свою же прежнюю одежду, выходит и прямо на погоню наталкивается. И, представьте, прохвост не оробел: прет прямо на офицера. — «Шурум бурум», купи, барин, халат новый!» Так и прилипает. Офицер его к чорту послал, а он за ним в свите погони пол-дня ходил... Его же ищут, а он с ними ходит. Кому в голову такое придет! Так и не поймали... А вот кандалы еще! Видите.

---

[1] Николай Морозов. «Из стен неволи».

тоже заклепки целы, только сплющены. Артист! Приискатель был. Золото носил. Оно у него в разных местах по тайге было зарыто... Его к нам в первый раз раненого привезли. Шел он в партии на «Борце». Вот четверо арестантов ночью подтянули к борту парохода веревку пароходной лодки, спустились на ходу в лодку и спокойно поплыли на берег. Капитан заметил, дал тревожный свисток. Лодка не остановилась. Солдаты начали стрелять. Все—промахи. На пароходе ехал почтальон с почтой. Начал и он стрелять из револьвера и, представьте себе, попал в спину сидевшего на корме. Арестанты доплыли до берега, взяли раненого и увели в лес. Завязали ему полотенцем рану и оставили под деревом, а сами, вероятно, залегли где-нибудь тут же. Пошли по тайге с фонарями и нашли раненого. А те все-таки скрылись... Пробыл он у нас не долго и снова бежал... Осенью дело было... Везли его два казака... Он попросился в уборную, разделся догола и—в воду! Доплыл до берега, так голый в тайгу и убежал... Когда заметили на берегу голого человека, тогда только хватились. Ну, а поймать, не поймали!.. Только, куда он голый девался?!.

— А вот эти кандалы, видите, подпилены...

— Позвольте, да ведь вы сказали, что у вас не носили кандалов...

— Да, конечно, которые были хорошего поведения, а вообще, какая же каторга мыслима без кандалов!..

Мы вышли из амбара, осмотрели избенку поселенца... Я наскоро попрощался и поторопился уехать. Мне хотелось поскорее вырваться из этого душного простора...

В Усть Куте первым делом иду к пароходу. На него грузят ящики казенной монополии. Сам капитан энергично руководит работой.

— А вы поскорее перебирайтесь к нам на пароход,— говорит капитан,—у нас вам будет лучше...

В этот же вечер пароход трогается в путь...

Пароходы по Лене ходят небольшие. Самый лучший почтовый—«Граф Игнатьев»—не крупнее самого меньшого из пассажирских на Днепре. Но зато он освещается элек-

тричеством... Из товарных пароходов «Громов» тоже освещается электричеством. Остальные—свечами. И по вечерам на пароходе темно и уныло. Днем жизнь протекает на верхней палубе. Ходить по ней взад и вперед одновременно могут только три человека. Каюты,—каждая на два человека,— темны и тесны. У окна моей каюты близ колеса висит туша мяса. Третий класс помещается на нижней палубе. Ночью пассажиры его нестерпимо мерзнут и обыкновенно таскают дрова за право погреться внизу в машинном отделении... Пассажиров не только на товарных, но и на почтовых пароходах едет очень мало. От Усть-Кута до Якутска по течению Лены 6-7 суток езды на почтовом пароходе, а от Якутска до Усть-Кута 12-14 суток.

Будь пароход побольше да поудобнее, эта поездка могла бы явиться лучшей прогулкой. Впрочем, неизбалованные приленские жители так и смотрят на нее. Очень многие ездят из Киренска, до встречи обратного парохода (около Макарова), «выпить пива и закусить».

По берегу Лены в разных местах, иногда совершенно глухих и безлюдных, заготовлены «вольные» дрова для пароходов. Около дров на столбике обыкновенно имеется надпись,—чьи дрова. Пароход пристает, забирает дрова, оставляя на штабели под поленом записку или выдает ее «доверенному» на ближайшем станке. Сторожей около дров нет. Всякий может рубить в тайге, сколько угодно, и потому ценится только труд заготовки дров. А чужой труд в Сибири уважается... Осенью все станки об'езжают почтовые и частные пароходы и сразу расплачиваются по «квитанциям».

Остановка для нагрузки дров—одно из лучших удовольствий путешествия. Я не говорю уже о том неудержимом смехе, какой обыкновенно вызывают «обстоятельные» надписи, возвещающие, кому принадлежат дрова. Так, на одной доске я прочел: «Больной дрова на 2-й гильдии Олекминска беременна купца Никола Черемных». Пониже этой надписи, значившей—Вольные дрова 2-й гильдии Олекминского временного купца Николая Черемных», какой-то остроумный путешественник приписал

синим карандашом: «А в переводе с якутского—потерялась больная корова из Китая»...

Хорошо нагружать дрова ночью. Пустынный берег. Узкая полоска «песку» из мелкой круглой гальки, покатый косогор и дальше кругом—дикая, непроходимая тайга. Дрова носят по двое на двух длинных палках, точно на носилках. Пассажиры-же раскладывают «костер», чтоб освещать дорогу носильщикам. Некоторые с трудом волочат целые деревья.

— Там лиственница большая, вывороченная с корнями, лежит, давайте принесем сюда.

Несколько человек приволакивают и лиственницу... Уже—целая груда деревьев. Зажигают «костер». Это настоящий пожар. Весь берег освещен. Ветер дует на реку и снопы искр летят в воду... Все располагаются кругом, подальше, так как близко стоять невозможно.

Пассажирка третьего класса в платочке напевает...

— О чем вы, барышня, разговариваете с огнем?—шутит рулевой в великолепной бобровой шапке, купленной у приискового за 6 рублей...

Тихо, спокойно... Мирно...

Когда мы уезжаем, я говорю, что следует потушить костер. Все смеются.—Зачем?! Ведь тайгу нарочно выжигают. Жители только рады были бы, еслиб подпалили, да трудно это сделать...

И долго, точно маяк, освещает пылающий костер широкий простор реки.

А мы снова двигаемся в далекий путь...

Иногда, вместо того, чтобы раскладывать костер, едут «лучить». На носу пароходной лодки стоит охотник с острогой, другой—на руле, третий—разводит огонь, для чего кладет на железный лист, прилаженный к палке, сухие, жаровые дрова. Но эту охоту возможно устраивать только, когда пароход идет вниз по реке и когда погрузка дров—очень продолжительна...

Виды реки все те же. Горы, тайга, галька, сопки... Но после каждой впадающей реки, Лена заметно ростет...

———

На пароходе я познакомился с А. Л. Могилевой—женой капитана парохода «Почтаря». Как выяснилось из ее рассказов, за капитана она вышла замуж вторым браком; первым же мужем ее был жандармский унтер-офицер Щепин. Конечно, такое звание ее мужа вызвало во мне усиленный интерес к его былой деятельности... Хотелось выведать что-либо полезное.

И совершенно неожиданно я узнал, что первый муж ее состоял последним начальником тюрьмы в Вилюйске, где многие годы томился великий страдалец, знаменитый русский писатель Н. Г. Чернышевский [1].

Наш разговор я тогда же дословно записал. Вот отрывки этих записей:

— «Я жила с мужем в Вилюйске в 1883 г.,—начала свой рассказ А. Л. Могилева.—Жандарм (в данном случае мой муж—Щепин) был самым старшим над тюрьмой. Исправник и его помощник не имели никакой власти над Чернышевским.

— Тюрьма была расположена на самом берегу реки, за городом верстах в двух. В городе было не более 15-ти одноэтажных домов, церковь, крытый дом исправника, доктора, заседателя... Река—не широкая. Александра Лар. показала подходящее расстояние на Лене (как Десна, впадающая в Днепр... заметил я). Берега—песчаные... От тюрьмы открывался красивый вид, и она была около самого леса. Но уйти или уехать отсюда не было никакой возможности... Не оттого, что тюрьма была окружена палями, а оттого, что не было дороги... И кто ее не знал, без хорошего провожатого не нашел бы и самую дорогу.

— Ходить из тюрьмы Чернышевский мог сколько угодно и ходил с утра до ночи всегда один. Собирал грибы, которые затем сам себе готовил в своей же камере...

— А следом за ним все-таки ходили?

— Нет, за ним следом и потихоньку никто не ходил. Только на ночь запирали ворота, и был ночной караул.

---

[1] Идейный вождь революционной молодежи конца шестидесятых годов. Автор книги «Что делать?» Карл Маркс высоко ценил Н. Г. Чернышевского. При помощи подложных документов Чернышевский был жандармами отправлен в ссылку.

Ему очень верили, ведь он сидел там 12 лет. Кроме того, Чернышевский был очень хороший человек! Это был и очень веселый, очень разговорчивый старик. Много смеялся. Часто пел песни, не унывал. Вставал рано, часов в шесть, а ложился позже всех. Детей очень любил. Во всем Вилюйске, кроме Чернышевского, не было ни одного арестанта или ссыльного; только после его от‘езда стали туда ссылать.

— Как же там жить в Вилюйске?

— Плохо, очень тяжело!..

В Вилюйске морозы еще страшнее, чем в Якутске. Да и вообще в Вилюйске хуже жить, чем в Якутске. Была прямо погибель. Овощей никаких. Зимою там все больше ночь, а летом все больше день. Зима там такая, что если плюнуть, то плевок, не долетая до земли, замерзает. Даже якуты ездят в меховых масках. Только глаза видны!

— Сохранилось ли там что-нибудь после Чернышевского?

— Как же, подле тюрьмы, против окон Чернышевского, было небольшое озеро. Чернышевский осушил это озеро, сделал канаву. Сам ее копал. Якуты прозвали эту канаву «Николаевским прокопом» в его честь.

— Говорил Чернышевский по якутски?

— Не знаю.

— А какова была его тюрьма?

— В тюрьме у Чернышевского была одна, громадная комната в 2 окна, с некрашенными стенами. На стенах были поделаны полки для книг. Книг было очень много. Ему их присылали с каждой почтой, в 2 месяца, кажется, 1 раз. Он потом их пожертвовал в якутскую библиотеку — 5 больших ящиков. Муж их туда отправил уже после его от‘езда. Кроме большой комнаты, было еще 5 камер и корридор. Тюрьма была деревянная, одноэтажная, окружена заостренными палями. В окнах были решетки. Тюрьму, говорили, построили для Огрызко и еще кого-то (кажется польского министра), когда же строили — не знаю. В том же здании тюрьмы, на одном корридоре с Чернышевским, жили я с мужем, тут же помещались и урядники (а казаки, кажется, жили около). У Чернышевского был

свой самовар, который он сам и ставил. Готовил в обыкновенной печи-голландке...

— Как Чернышевский проводил день?

— Летом в комнате стоял «дымокур»—горшок со всяким тлеющим хламом: коровьим калом и листьями (там летом ставят и по улицам «дымокуры», т. к. страшнейшее комарье—скот заедает!). Днем и ночью дымокуры в домах: смрад дыма отгоняет комаров. Если взять белый хлеб, то сразу мошка так обсядет густо, что, подумаешь, будто икрой вымазан. Чернышевский, взяв полотенце и завернув голову, уходил в лес на целый день; собирает грибы, прийдет, поест, и опять уходит. В доме нельзя было высидеть! Если, бывало, положишь на стол кусок свежего мяса и не закроешь, то оно через $^1/_2$ часа будет совсем белое, как бумага: комары высосут всю кровь из него. Когда темнело или было ненастье, то Чернышевский сидел и читал. Но гулять ходил каждый день. Иногда читал целую ночь напролет или что-то писал, причем все, что писал, жег.

— Читали вы его сочинения?—Знаменитый был у него роман «Что делать?»...

— Нет, его сочинений не читала и про «Что делать?» никогда не слыхала. Тогда я о нем и понятия не имела—преступник и преступник; говорили, что сослан за книги.

— Ну, а как проводил время Чернышевский зимою?

— Да зимою он тоже выходил, хотя много тогда читал и писал...

— А что, Чернышевский охотился?

Александра Ларионовна смеется.

— Нет, он и ружья боялся.

В одежде ходил простой—холщевой рубахе с отложным воротничком и с завязками вместо пуговок, как на больничном халате, в холщевых штанах, а зимою еще в шубе.

— А белье себе он сам стирал?

— Нет, полотенца, простыни мыла ему какая-то женщина. Она же пекла и хлеб... Спал Чернышевский на перине, которую, уезжая, подарил вместе с самоваром служителю тюрьмы (был один для топки печей и уборки).

— Приезжал-ли кто-нибудь из начальства проведать его?

— Да... Однако Чернышевский не принял преосвященного, когда тот хотел его навестить. Губернатора Чернышевский тоже не принял, когда тот приехал и хотел его навестить. Чернышевский был на него недоволен, что он задерживал его корреспонденцию.

— А как освободили Чернышевского?

— Освободили так: из Иркутска приехали два жандармских унтер-офицера, привезли с собой бумагу мужу и сказали пароль. Хотя они были знакомые и бумаги все были, но без пароля муж не допустил бы их к Чернышевскому. Когда приехали жандармы, они пришли пешком к тюрьме, вместе с исправником и его помощником. Увидав идущих, муж немедля запер тюрьму и поставил караул. Караул не допустил жандармов и исправника к тюрьме. Когда сказали пароль, то допустил. Пароль у мужа был записан, и он его помнил. Вошли в комнату мужа, подали бумагу от иркутского жандармского полковника об освобождении. Кроме нее было запечатанное письмо на имя Чернышевского. Как только ему подали письмо, Чернышевский начал плакать! То захохочет, то снова плачет! И начал он просить, чтоб его сейчас же везли. Муж стал уговаривать его уложиться, приготовиться к дороге и дать жандармам отдохнуть. Он согласился. Чернышевский пошел со всеми попрощаться...

— Чтож был кто-нибудь огорчен, что он уезжает?

— Нет, никто по нему не плакал, за него все радовались.

— Ну, а как поехал?

— Дело было в августе месяце. Дороги проезжей из Вилюйска нет, только верховая. Кругом страшнейшие болота, мостов тоже не было, речки необходимо было переплывать вплавь на лошади. Для него верно делали плоты. До Якутска от Вилюйска верст 700. Дорога—только узкая тропа среди тайги, верхом едешь, ветвями все время бьет в лицо. Ехать верхом он отказался. Говорит—не умею и боюсь. Хотели сделать на быках качалку, как носилки к стременам подвязать. Он отказался. И его повезли на

санях по земле. Муж кое-как уговорил почтосодержателя, так как в контракте не было условия возить по земле на санях. Якуты шли впереди саней и расчищали дорогу, где была тайга, а по болотам не было нужды расчищать. Везли инкогнито под номером первым. В Якутске Чернышевскому был приготовлен губернаторский шитик, закрытая такая лодка. Был ли тогда на Лене пароход, я не помню. Губернатор приготовил Чернышевскому обед, но он отказался принять, так нам рассказывали, когда мы ехали обратно. Больше я ничего о нем не помню... Одно могу сказать—хороший, крепкий был человек!

Во время одной из коротких остановок у глухого станка, пока выгружали с парохода ящики, я вышел на берег. Мое внимание сразу же привлек скромно одетый пожилой человек в очках, с интеллигентным лицом. У него на голове был черный картуз, а сидел он на выгруженном товаре.—Какой странный купец, вроде политического,—подумал я,—но ведь он чересчур стар, возраст его не подходящий для ссыльного... А этот картуз?..

И я равнодушно вернулся на пароход... Раздались свистки. Сняли сходни. Тронулись.

— Что это за странный купец?—спросил я капитана, указывая на продолжающего сидеть человека в картузе...

— Это—государственный! Может, слыхали,—известный доктор П.; он здесь единственный политический на станок. Других сюда не селят... Скучает...

Я обернулся. Доктор П. попрежнему сидел на ящике. И его придавленная, согбенная фигура долго вырисовывалась на фоне серого, сумрачного неба... Я глядел на него с глубокой тоской. Быть может, он пришел на берег для того, чтоб услышать приветливое слово, и я не дал его. А он так жаждал бодрости, свежей струи жизни... И теперь он остался попрежнему один на этом страшно одиноком, пустынном берегу...—Крикнуть ему? Но он весь ушел в свои думы... Да и что закричишь?..

И я давал себе слово дальше аккуратно выходить при каждой остановке парохода...

— Слушайте, капитан, отчего же этот политический доктор одет в черный приказчичий картуз?

— А какую же здесь другую шапку достанешь? Один раз за весь год проходят сплавом мимо станков торговые паузки. Сразу на весь год надо и запасаться... Выбирать не приходится... Бери, что есть... Надо и с деньгами считаться. Подальше будет деревня Крестовая. В ней дворов восемь-двенадцать. Как-то приплыл к деревне торговый паузок. Стали крестьяне закупать, а цены просто недоступные. Они собрались всей деревней, обсудили свое положение и решили, что лучше приобресть товар без денег. Попросили хозяина переночевать; завтра, мол, будем покупать. Ночью собралась вся деревня, убили всех на паузке, кажется человек шесть... Разобрали товар, а паузок спалили. Осенью стал хозяин паузков их собирать и заметил, что одного не достает. Сделали расследование. Видят, паузок пропал в Крестовой... Приехал заседатель... Заварилось дело... Военному суду предали... Был среди крестовцев поселенец черкес—Иван Иванович Кузанов—его отвезли в Иркутск и повесили... За всю деревню он один ответил. Впрочем и крестовцам досталось: всех в бессрочную каторгу отправили... Вот оно, что значат цены дорогие... Приходится и картуз брать... Да что картуз?! Сами увидите.—Национальный флаг и то приходится шить, сообразуясь с ценами на кумач. Тут, когда почта есть, на берегу выставляют национальный флаг. Вы и увидите, какие эти флаги по Лене: весь белый, а посреди узенькая красная полоска.—Больше красного кумача не нашлось в ближних лавках, а синего и совсем не разыскали!.. А то бывает—вместо синего просто черную полосу приделают и вместо национального получается какой-то траурный, печальный флаг, точно флаг бедности и заброшенности этого края...

Наш пароход пристает к станку. На берегу в песчаную отмель воткнут шест; на нем «национальный флаг»—белый с двумя лоскутками—красным и синим...

— А, ведь, здесь есть телеграфная станция,—сообщает капитан.—Вы все так интересуетесь, как идет война. Пройдите на телеграф, пароход будет стоять, мы вас по-

дождем... Может, что-нибудь узнаете. Телеграфисты расскажут—агентские телеграммы проходят через их руки в Якутск.

Я отправляюсь в деревню. Меня подвозят на лодке к отмели. Мимо проезжает на санях по земле почтальон. Он везет брезентовые мешки с кладью, очевидно, посылками... Добираюсь до деревни. Захожу на телеграф. Любезны. Узнаю об «отступлениях в порядке».

— А об убийстве министра внутренних дел Плеве слышали уже?—вдруг неожиданно спрашивает телеграфист.

— Вот посмотрите телеграмму! Мы только что записали...

Впечатление!..

Наш пароход снова пристает на несколько минут к небольшому станку. У этого станка почтовые пароходы не останавливаются, он чересчур глухой и заброшенный, и потому здесь устроена «колония» политических—поселено несколько административно-ссыльных. Заслышав пароходный свисток, все население станка от мала до велика бежит к берегу. Очевидно—событие большой важности. Бегут и трое—в пиджаках. Один в студенческой фуражке.

— Вон, государственные, видите,—говорит капитан.

Я, конечно, вижу и смотрю на них.

Пароход причаливает. Трое молодых людей, стоя сплоченной группой, напряженно рассматривают публику... Глаза наши встречаются...

Я схожу к ним. Они кидаются. Называюсь...

— Ну что, какие новости, какие известия, что делается на родине, как война!?. Говорите, говорите поскорее,— возбужденно-радостно кричат они все разом.—Мы ничего не знаем! Мы знаем только то, что было месяц назад... Скорее говорите!

— Бомбой убит Плеве...—едва успеваю я сказать...

Волнение страшное! Крики, восклицания. Они так возбуждены!

— Хотя я—социал-демократ и убежденный враг террора...—говорит побледневший студент, дрожа всем телом, точно в лихорадке...

«Нет, нельзя сообщать сразу исстрадавшимся людям, что умер или воскрес человек, судьба которого близко задевает»,—думаю я...

Третий свисток. Мы прощаемся. Пароход отчаливает, а они снова стоят на берегу сплоченной группой со счастливыми, радостными лицами и машут шляпами... И, вместо «ура», они возбужденно кричат «известную русскую поговорку»—долой самодержавие, долой самодержавие!..

— Будете ехать обратно, не забудьте нас!..

V

Политические кавказцы.—Политический «мальчик без штанов».—В гостях у политических.—В об'ятиях полиции.—Бодайбо.—Побег Скоробогача.—Рассказ политического о своей жизни.

— Знаете, — говорит мне пассажир, почтовый чиновник,—самые политические среди политических ссыльных—это кавказцы! Их все администраторы боятся.—А они, никого!.. Представьте себе, губернатор перед ними пятится, как рак! Был в Якутске один грузин Камерики или Хомерики, рабочий, не помню. Пошел он к губернатору просить оставить его в городе, работать на водочном заводе. Тогда нужда большая была в опытных мастеровых, некому было строить, а из Петербурга шли телеграммы, чтобы вырос винный склад, как гриб после дождя! Губернатор и обрадовался Камерику, разрешил ему временно остаться и при этом случайно спросил—«почему так много пришло Камерики в Якутскую область, кажется шесть человек?»

— Камерики,—отвечал грузин,—хороший народ, любит борьба, не любит—буржуа!

— Я тоже не люблю буржуа,—едва сказал только губернатор и немедля растерянно ушел из кабинета.

Камерики потом рассказывал, что он сделал губернатору «горячие глаза»—а тот сразу же замолчал и попятился прочь!..

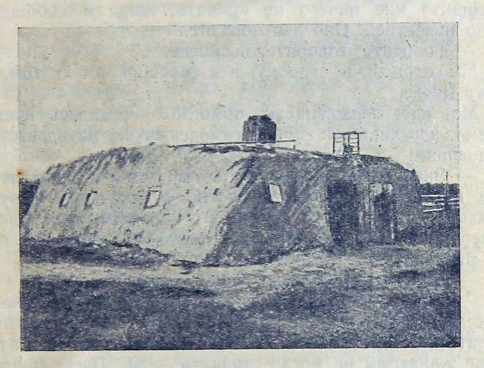
И, представьте себе, только за «горячие глаза» губернатор переслал Камерики подальше в наслег...

— А то, взять другого кавказца... Сослали его в глухой приленский станок Z. Кругом тайга, горы, скалы, да галька... Будем ехать мимо, сами увидите... Он немедля же себе саклю смастерил. Там берег—как бы двухэтажный; ниж-

ний—плоская с покатом коса, покрытая круглым щебнем гальки, по которой пройти трудно, а верхний этаж—такая же терраса повыше, по которой тянется осенний тракт в соседний большой станок. Грузин и устроил себе домишко, прилепив его к обрыву тракта, как ласточкино гнездо, по кавказски, чтоб не делать четвертую стену; крышу он устроил земляную, а для красоты посеял на ней какую-то хлебную траву; зерна достал у проезжего поселенца. Крыша у него и зазеленела. Вот тут-то и началась трагедия. Кругом ни клочка ровной поверхности, галька и галька—ноги ломай, да и баста, куда ни глянь—темная, нависшая, мрачная тайга! Одна только крыша и радует взор. Она и сделалась любимым местом прогулки... В особенности для свиданий местной молодежи. Но это он еще кое-как терпел... Началось с заседателя. Приехало это полицейское начальство сюда по каким-то делам, кончило их и немедля же расположилось с разными там понятыми пикником на крыше... Как на балконе—удобно это,—свернуть только с дороги направо... Пока выпивали, грузин не слышал, что они у него на крыше хозяйничают—сидел, книжки читал. Но как начали они у него на крыше с пьяных глаз танцовать и патриотические песни петь, грузин выскочил в двери и прямо ахнул.—Видит, у него на крыше полиция гуляет! Крик поднял отчаянный. Никогда никто так на заседателя не кричал, сам губернатор обошелся бы деликатнее... Но и заседатель был старая полицейская крыса, которую не легко спугнуть.—«Кричи, — говорит, — кричи, а вот я тебя запротоколю и тогда узнаешь, как на начальство, при исполнении служебных обязанностей, кричать». Всякий бы на его месте усмирился, понял бы, что до точки дошел, а в нем политика кавказца закипела. Стал он уже что-то по-грузински кричать, до потери голоса кричал... Полиция распотешилась—хохочут уже все. А другие и внимания не стали обращать, между собой говорят, что отсюда на охоту поедут. Там все охотятся. А у грузина и голоса нет. Вот побежал он к реке, напился воды, вернулся и пошел в свою саклю. Будто успокоился. Видят,—угрюмый идет, решительный и молчит. Только, знаете, выносит он

в одной руке жестянку пороховую фунтовую, а в другой уже зажженную лучину.

— Не могу я—политический,—говорит,—снесть такого позора, чтоб у меня на крыше, над моими хорошими книгами, над Карлом Марксом, поганая полиция ликовала, решил я мою саклю взорвать и вас вместе с нею... Одним словом, по кавказски! Не успел он и договорить, как они все с крыши этой кубарем свалились, удирать — кто куда попало! Заседатель отбежал к стороне и кричит уряд-



Юрта политических.

нику:—«ступай обратно на крышу за ружьем». А тот в ответ: «никак не могу, ваше благородие, пока господин политический позволит!» Ну, тот позволил... Так он за своих Марксов постоял. Один против стольких полицейских. Неслыханное здесь дело!.. Но только его сакля и до сих пор отравляет ему существование. Все ему кажется, что у него на крыше—полиция. Чуть какая-нибудь парочка заберется вечером поворковать да зашумят, он с дубиной в руках и выскакивает. Особую сучковатую

дубину даже завел! Натерпелся таки он немало... Что поделаешь, не годится для здешних мест кавказская сакля!..

На одном из станков я снова увидал нескольких политических. Они, попрежнему, стояли сплоченной группой. Среди них была молодая девушка. Они озабоченно смотрели на пароход... Я сошел на берег. Мы поздоровались. Они, как всегда, засыпали вопросами.

— Отойдем в сторону подальше, пожалуйста заранее обещайте мне ничего не кричать, когда я сообщу вам одно известие... Оно вас поразит...

— Говорите, говорите, поскорее!

Мы отошли в сторону, и я сообщил им о том, что убит Плеве.

Мое предупреждение не помогло... Раздались прежние крики, восклицания: Долой самодержавие! Да здравствует социализм!

— Знаете, Плеве был личным врагом нашего мальчика без штанов, — говорила радостно молоденькая девушка, указывая на молодого студента с хорошим, ясным лицом, совершенно не похожего ни на мальчика, ни тем более на мальчика без штанов...

— Ничего не понимаю, в чем дело?—спросил я.

— Очень просто. Когда на жандармских дознаниях уже при Сипягине политические поголовно начали отказываться давать какие-либо показания и, благодаря этому, даже жандармы не могли стряпать дела, Плеве придумал передать политические дела в суды и тем заставить политических заговорить... На это и пошел наш мальчик без штанов... Против него не было никаких улик, но он произнес речь о своих убеждениях. Суд оправдал его, а Плеве сослал сюда.

— А почему у вас такое странное прозвище?

— Его долго держали в тюрьме до суда, он не называл своего имени, ему не делали передач, и наш мальчик настолько обносился, что когда ему нужно было итти в суд, то он с тревогой воскликнул:

— «Как же я пойду на суд без штанов?» За это он и получил свое прозвище...

Когда я выезжал из Москвы, один мой приятель— «человек большого политического такта» настойчиво советовал мне купить котелок, вместо обычной — мягкой шляпы.

— Я бывал в Сибири,—говорил он,—и хорошо знаю, что значит там котелок. Вам откроют двери самых сокровенных темнот. Вас будут везде принимать за важную столичную штучку.

— Да, ведь, мне этого и не нужно!..

— Но вам придется хлопотать за ссыльных, и тогда котелок будет незаменим, не забудьте, что вы едете на ответственную защиту по политическому делу. Надо принимать во внимание все.

И, побежденный этими доводами, на всякий случай я купил хороший английский котелок и вез его со всеми предосторожностями в специальной деревянной коробке. Я жаждал хоть раз пустить в ход эту драгоценность и вообще испробовать ее обещанные магические свойства. Случая не было, и я решил развлечься котелком,—подурить от скуки длинного пути, устроив «маскерад» при первой же встрече с политическими...

Когда, подплывая к станку, где предстояла продолжительная остановка для ночлега, я заметил на берегу несколько политических, то быстро спустился в каюту, одел новенький котелок и вышел на палубу. Я постарался принять вид столичного франта, заложив кренделями руки в карманы и очень пожалел, что для пущей важности не запасся и сигарой.

Политические жадно оглядывали пароход, разыскивая на нем пассажира, своим видом напоминающего «политического защитника». И не находили! Несколько раз они нерешительно останавливали свой взгляд на мне и снова блуждали глазами по пароходу.

Наконец, глаза их упорно остановились на мне. Я был неумолим. Руки мои были попрежнему заложены выборгскими кренделями.

— Сойдите к нам!—вдруг крикнула девушка, стоящая среди них. Она кивнула мне угловатым движением руки. Я спокойно и солидно сошел на берег.

— Вы по какому делу едете? — кинулись ко мне все политические, испытующе оглядывая мой великолепный котелок...

— По купецкому,—важно ответил я.

Они с отчаянием ринули от меня и уже снова начали осматривать пароход, но я не мог более выдержать своей роли и расхохотался.

— Не адвоката-ли вы ищете?

— Да, да! Где он?

— Да перед вами!

— А, ведь мы так и думали, но... но...

— Я им об'яснил мой «маскарад»...

Смех, веселье...

Попрежнему, приняв все меры «предосторожности» и отведя их в сторону подальше от парохода, я сообщил последнюю сенсационную новость...

И опять повторились прежние радостные восклицания!..

— На долго ли остановился пароход?

— На всю ночь!

— Ну, так идем к нам, вы нам много расскажете! Мы трое нарочно приехали сюда, чтоб повидаться с вами, порасспросить вас обо всем! Видите,—вон лодка! Ну, идем же поскорее!

— А где вы, здешние, живете?

— Да вон на берегу, избенка с воротами, видите на скамейке сидит урядник, это там и есть наш домишка!..

Нельзя сказать, чтобы вид урядника привел меня в патриотический восторг.

Конечно, он ничего не мог мне лично сделать. Но он мог по телеграфу сообщить отсюда в Якутск о моих «сношениях» с этими ссыльными и тогда, конечно, весь мой авторитет не только «столичной штучки», но и просто адвоката в заброшенной окраине терял всякое значение. Я давно уже заметил, что судьи по политическим делам лишь тогда внимательно и с «уважением» слушают защитника, когда не видят в нем союзника подсудимого, или, вернее говоря, такого же подсудимого по духу, как и тот, которого за распространение нескольких брошюр они совершенно равнодушно готовы лишить не только прав

состояния, но и выбросить за борт жизни, как отброс человечества, на свалку людской нечисти... И чем менее «стороной в деле» кажется адвокат таким судьям, тем охотнее соглашаются с ним даже судьи-палачи. А на мне лежала чересчур большая ответственность, я должен был принесть в жертву все мои интересы, которые могли помешать этой защите. Поэтому я предложил ссыльным «стратегический» план. Для того, чтобы не возбудить подозрения урядника в моей неблагонадежности, мы решили, что они пойдут к себе домой, а я с кем-нибудь отправлюсь осматривать станок, затем мы подойдем к их дому, он начнет меня приглашать, а я отказываться, спрошу — да кто же собственно они и, узнав, что ссыльные, скажу: «ах, как это интересно, я никогда не видал ссыльных, какое же преступление сделали вы»? С запасом этих слов я успею пройти мимо урядника, и все правила «*конспиртрации*» будут соблюдены!

Сказано—сделано. Мы описали по ничтожному станку два-три круга, причем мое появление в котелке вызывало невероятную сенсацию среди ребятишек, усиленно показывавших на него пальцами... Я «осматривал» деревню... И, говоря правду, не пожалел, что это входило в стратегический план. Я увидел не только великую нужду и заброшенность, общие почти всем русским деревням, но и ужас оторванности от примитивно культурного центра.

Все население уже вернулось с берега от парохода, и в поселке началась обычная жизнь...

Мимо на санях провезли сено... И я вспомнил, как, изучая древний русский быт, мы—дети—с изумлением узнали, что было забытое время, когда наши предки и летом ездили на санях... Я увидел почти полное отсутствие *гвоздя*, кучи мусора, апатичные лица взрослых... Но, главное, страшна была эта мертвая тишина мертвого поселка... Появлялись и вылазили откуда-то люди.. Точно тени... И если бы не маленькие дети, я подумал бы, что нахожусь в Буссане Веккиа — микроскопической итальянской деревушке на берегу Средиземного моря, двадцать лет назад разрушенной грозным землетрясением и навсегда покинутой жителями... Но страшнее всего было за интеллигентных,

полных жизни и энергии, мыслящих людей, обреченных коротать здесь свое время. Во всем станке не было даже лавченки или будочки для продажи печеного хлеба или зацветшей «московской» колбасы, не то что нескольких листов писчей бумаги... Не было ничего общественного, не было даже «часовни» — деревянного помоста и крыши сверху на четырех столбиках... Ничего... Избенки темно-серые, старые. Ни одного крашенного окна или крашенной ставни, на которых успокоился бы утомленный серым однообразием глаз...

Не слышно было родной украинской песни, которой начинается и кончается у нас в Хатках ярко-солнечный, красочный день...

— Край дороги гне тополю до самого долу!.. Никаких дерев, кроме лиственниц и елей в обступившей кругом угрюмой и тяжелой тайге...

О, как невыносима ты, ссылка! думал я...

Около ворот квартиры политических между мною и спутником в присутствии насторожившегося, точно барбос, урядника, произошел условленный разговор, затем мы проделали галантерейность обхождения, уступая друг другу честь войти первому в ворота... И, наконец, я очутился во дворе...

Они все собрались в своем «флигельке»—жалкой прокопченной лачуге, менее всего напоминающей комнату или даже дачную кухню... На стенах не было фотографий, гравюр, обычно украшающих стены ссыльной молодежи... Их всех арестовали совершенно неожиданно. Так же неожиданно, прямо из тюрьмы, сослали сюда. И они не успели захватить не только гравюр, но даже карточек самых близких людей!

Зато на стенах у них висели три большие железные четыреугольные сковороды.

— Однако, у вас здесь удивительно уютно. Какие чудные гравюры на стенах, — сказал я, указывая на сковороды.

— А что вы думаете,—ответил кто-то из них, — вам кажется, что это так, пустяки, а между тем это—действительно артистическое произведение одного пароход-

ного машиниста, облагодетельствовавшего нашу обитель такими удобными сковородами! Купите-ка их здесь!..

Мы уселись вокруг стола, и завязалась длинная, бесконечная беседа...

Мне так хотелось знать, как живут они, как проходит их день, с кем встречаются, кого видят...

Но они не имели ни малейшего желания рассказывать о себе и рвались выведать побольше от меня.

И я рассказал им о последнем политическом процессе, и между прочим о том, как один подсудимый предатель, доказывая свою доброту, распространялся перед судом, что однажды хотел спасти замерзающего в полынье гуся.

Защитник оговариваемого, которому была противна эта комедия, не выдержал и громко сказал: — «да ведь то был не гусь, а утка»! (в смысле газетная «утка»— брехня)...

Из их жизни я мог уловить только отдельные штрихи...

Во всем станке, кроме политических и писаря, не было никого грамотного, не то, что хотя бы так называемой интеллигенции; никто, кроме них, не выписывал газет, обо всех новостях узнавали от редких проезжающих, так как почтовые пароходы у их станка не останавливались... Была ли тягостна жизнь?.. Но зачем говорить о том, что и без слов очевидно...

Уже светало, когда я вышел из их «флигелька». Я отказался от провожатого. Лена была окутана густым туманом, но пароход легко было найти, так как на берегу тумана не было. Стояла мертвая тишина... Хотелось думать, а не спать... Прошел через пустырь покатого двора и спустился к воротам... Едва только я переступил порог, как попал в чьи-то железные об'ятия!

— Стой!—грозно раздался повелительный голос.

Я поднял голову и увидел перед собой две полицейские фигуры. Меня держал какой-то чин с серебряными погонами, сбоку стоял — урядник. Очевидно, они ждали меня и подслушивали наш разговор... Окно было открыто!..

Чин тоже поднял голову и устремил глаза на мой котелок...

— Кто вы такой?—спросил он уже гораздо мягче, попрежнему не выпуская мою талию из цепких об'ятий.

— Присяжный поверенный,—тихо ответил я и, сильно повышая голос, прибавил: — округа санкт-петербургской судебной палаты!..

Чин моментально опустил руки.

Казалось, он ощутил в них весь высокий авторитет целого округа с.-петербургской судебной палаты!..

— Куда вы сейчас идете?—деликатно спросил чин.

— К себе на пароход, в каюту первого класса...

— Вы позволите мне проводить вас? — окончательно тая спросил он, точно я был дамой, проводить которую он почитал за особенное удовольствие...

— Сделайте одолжение!—корректно отвечал я.

Мы отправились. Урядник следовал сзади на почтительном расстоянии... Я видел, что чин горит желанием задать ряд «любезных» вопросов, кто я, откуда и куда еду, и потому, поделившись впечатлениями погоды, предпочел задать ряд вопросов ему...

— Как вы сюда, в такую глушь попали?—спросил я.

— Случайно приехал на охоту!—угрюмо отвечал он и уже открыл рот, чтобы спросить меня о том же, но я не дал ему проронить ни одного лишнего звука...

— И как сошла ваша охота?!—быстро произнес я.

— Лося убили! — нетерпеливо заметил он и снова открыл рот...

— Вы сами убили, или же были еще охотники?—полюбопытствовал я...

— Были и другие!.. Кстати...

— А где же они?—не унывал я.

— По домам разошлись!.. Позвольте...

— Значит охотники местные?..

— Да! . Видите ли...

— А где происходила охота? — Неужели тут рядом в тайге можно охотиться?...

— Нет, охотились верстах и тридцати... Виноват...

— Неужто вы охотились ночью?

— Нет, только до позднего вечера!.. Я...

— Ну, до которого часа?

— Часов до 10-ти... Мне...

Он, повидимому, терял терпение... Но я уже знал все самое необходимое. Если охота окончилась в 10 часов, то с потерей времени на дорогу—два-три часа, на переодевание, на доклад урядника чин мог попасть к квартире политических не ранее двух часов ночи. Значит, он не слышал большей части нашего разговора! А это было утешительно!

— Неужто после охоты, ничего не откушав, вы пошли гулять?!

— Позвольте...

— Вот и пароход! Милости просим!—прервал я его...

Мы поднялись по сходням. К счастью капитан не спал! Он распоряжался приготовлениями к отплытию...

— А, капитан, вы не спите, вот и прекрасно!—сказал я, от души радуясь встрече с ним. — А я привел с собою гостя. Распорядитесь-ка дать мою бутылку вина, примите полюбезнее гостя, а я, к сожалению, устал и пойду спать!..

— Что же вы не останетесь с нами? Оставайтесь! — воскликнул чин, очевидно, под влиянием предстоящего вина, действительно чувствуя себя гостем.

— Не могу, устал,—ответил я и спокойно ушел к себе. А они еще долго сидели на рубке парохода и выпивали... Когда я встал с койки, пароход полным ходом рассекал воды Лены, чина же давно и след простыл...

Капитан стоял на вахте и своим острым взглядом осматривал реку... Бессонная ночь не оставила на нем следа...

— Ну, батенька,—сказал он, завидя меня,—от большой беды ушли вы! Ведь, это — сам Z.! Он хотел задержать вас да так, чтоб и политические не знали! Как увидел, что вы собираетесь от них, начинаете прощаться, он к воротам бросился и притаился...—Вот, говорит, как для меня благополучно сошло, мог бы нажить себе неприятности, арестовав такую высокую личность. Все интересовался узнать от меня, по какому делу вы командированы... Я ему, чтоб отделаться, сказал будто по миллионному делу барона Гинзбурга, а награды вам назначено пятьдесят тысяч! Он даже крякнул! Только в другой раз будьте

осторожнее... Он ваш разговор подслушивал, — хорошо, говорит, что все насчет охоты разговаривали — про гусей да уток, а то бы я его и не так схватил, тогда без скандалу не обошлось бы!.. Отписывайся-ка. На такую личность наскочил!..

До сих пор мне неприятно вспоминать эту ночь. «Котелок» отравляет ее впечатления...

Только ложь и, как ни поворачивай, хлестаковщина отвоевали мне на этот раз «действительную» неприкосновенность личности...

Мы подплываем к деревне Подкаменной. Значит Киренск—недалеко.

— Надо было послать к отцу Ивану справиться, нет ли уже диких уточек, — озабоченно говорит пароходный буфетчик...

— Как так,—изумляюсь я,—к священнику? Да он что же, охотник?

— Как же, охотится!—Хорошо, что здесь нет газетчиков, а то бы критику на духовенство сочинили,—замечает он... Только охота у него особенная, неводом!

— Никогда про такую и не слышал!..

— А вот послушайте! Он обставляет озеро неводом на палочках, подвязывает к ним веревочки и кидает в воду овес. Утки привыкают, слетаются... Овса не жалеет. Отец Иван садится в засаду, дергает веревочки, невод падает и закрывает стаю. Тогда он свертывает уткам головки и продает пару за 25 копеек, а то и по гривеннику, а у других штука стоит 30 копеек... Подкаменная расположена под утесом в небольшой пади, никого кроме неграмотных крестьян нет, можно от тоски помешаться, вот батюшка и придумал себе для лета такое развлечение... Ловит по озерам, пока не замерзнут... Другие священники по Лене тоже охотятся, но те из ружей... Молоко у отца Ивана тоже можно достать, держит коров...

И буфетчик посылает кухарку в деревню...

Уже даны три свистка, время трогаться в путь, а кухарки все нет... Наконец, она показывается на песчаной отмели...

— Дайте ка еще раз три свистка,—говорю я капитану,— пусть поспешает!..

— Нельзя, испугается, побежит и сломает молоко!

— Как так сломает? В первый раз слышу, что молоко можно сломать!

— Тут все этак привыкли говорить: молоко замороженное кругами продают. Зимою жидкого и не достать, а длинное ли здесь лето!..

Вот и Киренск!

Маленький захолустный, уездный городок с однообразными, темными домишками, изредка даже одноэтажными кирпичными, побеленными или украшенными мезонином, изредка с выкрашенными краской окнами...

Пароход идет полным ходом. Я поднимаюсь на рубку. Мы от'ехали от Киренска верст восемь...

Это—первая массивная, вся обнаженная до голого камня, скала. На ней ни одного деревца, ни одного кустика. Полукруглая громада из одного целого куска, точно нарочито приготовленная для колоссального пьедестала под будущий памятник будущего возрождения этого края... Темные тени падают от ее великолепных красных и серых выступов, отчего она кажется покрытой черными пятнами...

Мы проезжаем мимо Никольской слободы, раскинутой на красном глиняном берегу, поросшем мелким кустарником. Несколько налепленных домиков, белая церковка, четыре ели, напоминающие украинские тополя... Здесь на Никольской речке жгут известь для всей Лены...

Две мохнатые горы, покрытые густой тайгой, жмут эту речку своими нависшими обрывами... На самом берегу Лены расположен кожевенный завод—единственный на три тысячи верст... Кругом завода поля, засеянные хлебом...

На Киренск открывается красивый вид. Красная крыша монополии, темнеющий парк монастыря и сам монастырь среди парка, ярко выделяющийся двумя белыми точками... А кругом могучий простор воды...

Берега снова меняются. Река шириной около двухсот сажен, точно Десна. Правый берег — сплошь заливной

луг со сложенными стогами сена, огороженными заборами из жердей. За лугом далеко поднимаются пологие горы, покрытые зеленой тайгой... Другой, левый берег — сплошь невысокий темно-красный глинистый обрыв, заросший все такой же неизменной зеленой тайгой... За плоской гладью тайги вдали синеет вереница мощных гор...

Мы проезжаем мимо Кобелевой деревни. Она раскинулась на широкой долине, испещренной узорами посевов...

А берег снова и снова меняется... Небольшая покатая полоса мелкой гальки серебрит берег; повыше поднимаются откосы красной глины, изрытые весенним снегом и дождями. Кое-где они покрыты ярко-зеленым мхом, а то сверху густо заросли сосной... Местами попадаются «мачтовые деревья», сотни лет простоявшие на этом пустынном берегу...

Рулевые, дежуря у штурвала, рассказывают мне о побегах...

— Ехал с нами на пароходе один поселенец Скоробогач. Он убил в тайге «царь-бабу», и его везли в Иркутск на суд... До Олекминска было 4 казака. На Скоробогаче болтались ручные и ножные кандалы... Конвойные о нем заранее предупреждали, что он—бегать мастер... А он сам конвойных ругал... — «Не я,—говорил,—бегать умею, а вы все конвойные—изменщики и обманщики. Сунуть вам золотые часы, деньги, либо перстень и вы же первые дадите отойти шагов на пятнадцать, а тогда тревогу поднимете, стрелять начнете, будто и в самом деле поймать хотите! Знаю я вас, мошенников... И захотел бы убежать, то давно убежал. Но только тут не убегу. Не знаю я здешнего якутского языка—ни тох (что надо?), ни сох (нет)... Тут все равно мне пропадать! Убегу лучше на людном месте»...

— И, представьте, убежал. С Олекминска его вез уже один казак, да и тот всю дорогу пьянствовал... Скоро, еще на пароходе, Скоробогач снял ручные кандалы и начал без них показываться. Как-то раз он приходит сюда к капитану и просит зайти в арестантскую каюту. Она у нас в конце палубы третьего класса,—может, заметили,—отгорожена, точно курятник, проволочной сеткой...

Капитан пошел. Скоробогач приводит его и показывает пьяного казака.—Посмотрите, как эта свинья нализалась,—говорит,—уймите его, он все время требует от меня деньги на водку! У меня только четыре рубля. Откуда же я их ему возьму?—Казак начал оправдываться, прощения у своего же арестанта просить... Капитан обеспокоился и спрашивает, почему один конвойный, а раньше было четыре?.. — Да не оказалось казаков! — отвечает Скоробогач,—а вы, капитан, не волнуйтесь, я убегу не с парохода, не здесь надену на него эти самые браслеты, чтобы не приставал за водкой.—И Скоробогач побренчал кандалами... Доехали мы до Витима. Скоробогач и казак ушли в город. . На сходнях я спросил казака:—«ты куда?»—В волостное правление... Ну, сразу и не хватились. Видят, Скоро богач все смеется да громко кричит, что убежит, значит убегать не собирается... Стали вечером прибираться на пароходе и нашли винтовку, вторкнутую между носилками... А казака все нет... Кинулись еще искать и нашли в вещах Скоробогача две пустые бутылки из-под водки да одну непочатую с дурманом... Это он-то конвойного поил и на него же жаловался! И, представьте себе, бежал...

Меня часто в пути интересовал вопрос, каким образом тот или иной ссыльный сделался «политическим», какой жизненный путь прошел он до этого... Вот такой рассказ рабочего И. С. Ржонца о самом себе [1].

«Родился я 4 ноября 1879 года в г. Z... Отец был литейщиком в государственном железно-литейном заводе, где в то время вела деятельную агитацию союзница «Народной Воли»—«Польская Партия Пролетариат». Кое-что из пропаганды дошло и до моего отца, но он, как человек семейный, не решался заняться активной деятельностью. Семи лет я поступил в городское училище, где учился хорошо. Вскоре я узнал уже нечто о социализме и вот каким образом. К отцу приходил товарищ юности его, приносил с собою часто какие-то книги и газеты,

[1] И. С. Ржонца умер до революции в Париже, где работал на фабрике, как политический эмигрант.

которые читал нам, после того, как двери запирались, и замочная скважина затыкалась ватой. Хотя я слушал все, что читалось в этих книгах и газетах, но содержания их я не понимал. Внимание мое привлекали более всего незнакомые, но красивые слова: социализм, пролетариат, самодержавие и т. п... Слова эти иногда целыми предложениями я заучивал наизусть и с детским простодушием повторял в школе, на улице и в т. п. местах. Книги и газеты, в которых были такие изумительные слова, мне в руки не давались, и они тем более меня интересовали. Однажды я подкараулил отца, когда он прятал интересовавшую меня книгу под шкап. Я вытащил ее оттуда и на обложке прочитал следующий девиз: «Если бы конь сознавал свою силу, то ни один ездок не усидел бы на нем». Истина этого девиза поразила меня, и я начал читать книгу дальше. Восхищенный ее содержанием, я понес ее в училище и читал ее вместе с товарищами. Следствием чтения и рассуждения был обыск, на следующий день произведенный учителем в моем ранце. Книги он там не нашел, так как она была дома на старом месте, но расспрашивал про нее, угрожая исключением из училища. Я не мог сообразить, за что он угрожает мне исключением, и предположил, что ему хочется иметь эту книгу. Поэтому я страшно лгал, и он отстал. Спустя некоторое время я нашел под шкапом газету, в которой увлек меня стих революционного марша. Я выучил этот стих, подобрал какой-то детский мотив и распевал его на улице. Однажды вечером, когда я пел на улице эту песню, за мной погнался городовой. Я убежал от него в лавку, но он пришел туда, взял меня за ухо и сказал, что он поведет меня в участок, если я не скажу ему, кто меня выучил этой песне. Я испугался, стал плакать и, поцеловав его в руку, просил отпустить меня, что он и сделал, наставляя меня. Этот факт в связи с предыдущим дал мне понять, что социализм есть запрещенная вещь. Я начал расспрашивать отца о причинах этого, отец же посмотрел под шкап и, заметив, что книги кто-то трогал, не давая ответа, высек меня. С этого момента я почувствовал глубокое отвращение к социализму.

16-ти лет я поступил на фабрику.

В 1899 г. город Лодзь переживал ужасный промышленный кризис. Десятки тысяч рабочих голодали от безработицы. Полиция массами высылала их на родину, чтобы они там помирали от голода. Легальная пресса, местная и иногородняя, выступала с различными благотворительными проектами. Но все это не могло накормить, не могло заглушить стонов несчастной массы. Я наблюдал тысячи голодающих, видел у входа на фабрики тысячи исхудалых и оборванных, молящих о работе, видел рабочую демонстрацию и, наконец, вспомнив то, что когда-то читал в нелегальной печати, я догадался, в чем тут дело и решил познакомиться с ним ближе. «Ищите и найдете».

Я нашел и вскоре начал работать в нескольких кружках партии.

В конце апреля я приехал в Z. и, познакомившись с рабочими, принял участие в майской демонстрации.

Вскоре я вступил в организацию, но, не желая разбираться в партийных программах (хотя работал исключительно в С. Д.), я стал массовым «агитатором»; произнося речи везде, где были рабочие, я говорил то, что диктовало мне сердце и небольшие политические познания. Вместе с тем я исполнял все, что можно было исполнять в организации.

В конце 1901 г. меня арестовали в Z. и посадили в крепость. Меня обвиняли по трем делам и следствие длилось $22^1/_2$ месяца.

Затем я «уехал» в Сибирь»...

Таков скромный рассказ ссыльного о себе самом. Мне пришлось много беседовать с ним, пришлось видеть его даже в суде и потому хочется, хотя одним штрихом, дополнить его чересчур краткую повесть...

Это был высокий, красивый юноша с сильным взглядом... Он больше молчал; а если «в жизни» начинал говорить, то даже слегка заикался...

Но однажды я увидел его в минуту вдохновения, подъема, и тогда понял, на какую высоту красоты и силы человеческого слова мог подниматься он...

Его с товарищами романовцами судили в иркутской судебной палате. Грозила каторга. Прокурор произносил уже речь... В это время с улицы чрез толстые стены суда донеслось громкое, сотен голосов, пение революционной песни...

— «Вставай, подымайся, рабочий народ»!..—Очевидно, на улице происходила демонстрация...

Заканчивая свою речь и указывая на единственно возможный для подсудимых приговор,—каторжный приговор,—прокурор предложил суду, по собственной инициативе, возбудить ходатайство пред величеством о помиловании обвиняемых...

Тогда Ржонца поднялся и попросил разрешение сделать заявление...

И он произнес только несколько слов.

— Нам не надо помилования,—говорил он, задыхаясь от волнения, твердым и решительным голосом.—Нам не нужно помилования! Мы желаем свободы! А свободу нам даст тот рабочий народ, который сейчас за стенами этого суда грозно кричит «долой самодержавие!»... В зале поднялся страшный шум... Остальные подсудимые и вся присутствовавшая публика вскочили с мест и подхватили возгласы Ржонцы. Председатель потребовал очистить зал от подсудимых и публики. Подсудимых вывели. Я остался один, собирая свои бумаги у кафедры. Вдруг сбоку скрипнула дверь. Показалась голова старого полицеймейстера. Дверь совещательской тоже приоткрылась. Показался старший председатель судебной палаты Ераков. И как две старых канцелярских крысы, они поползли друг к другу. «Ну что»? «Вы что-нибудь слышали?»—спросил председатель палаты: и добавил: «я ничего не слышал»—«Точно так. За криками ура ничего не было слышно,»—отвечал полицеймейстер. И условившись, как надо осветить этот эпизод, старики расползлись....

Такова была сила речи Ржонцы...

VI

В шкуре еврея. — Черкес — чухонец. — Витим.— Телеграф.— «Бывший политический». — Разбойничий притон. — «Допущено».—Бодайбо—золотые прииски.—Кража золота.—Лена.—Паузок политических.

Когда пароход, после кратковременной остановки, отплыл от пустынного станка, я заметил на верхней палубе нового пассажира. Он был одет чрезвычайно странно: голова парилась в затасканной меховой шапке прекрасной городской отделки, а на худощавом теле болталась легкая выцветшая блуза. Но лицо «бывшего студента» выделялось своей интеллигентностью. Он весело глянул на меня ясными, открытыми глазами и быстро подошел.

— Вы едете в Якутск?!

— Да.

— На защиту по делу протеста ссыльных?... Мне уже показали... Я политический. Страшно рад! Я нарочно сел на пароход, чтоб проводить вас. Еду целый день! Мы будем говорить, не торопясь, я узнаю все, что делается на родине!...

— Но ведь это—самовольная отлучка, за нее по циркулярам генерал-губернатора вас могут сослать еще дальше!..

— Чорт с ним! Кроме того, после протеста они ослабили гнет. Я не в состоянии больше сидеть и ничего знать о России. Тоска. Ведь иногда я молчу неделями. Буквально молчу, как сумасшедший меланхолик. А я привык к обществу, к товарищам, людям, я хочу жить! И мы потолкуем обо всем. Может быть, вы знаете что-нибудь и о партийной жизни. Поспорим! Хорошо?

— Ладно!..

— Но какой самый крупный факт за последнее время?

Я рассказал об убийстве Плеве. И снова повторилось то, что происходило каждый раз при сообщении этого известия ссыльным... Но он живо пришел в себя и засыпал вопросами...

— По какому делу вы сюда сосланы, как ваша фамилия?— спросил я в свою очередь.

Он назвался. Его фамилия звучала, как распространенная еврейская, хотя лицо было типично русское.

— Разве вы еврей?—полюбопытствовал я.

Он засмеялся...—Видите-ли... Я, собственно, и русский, и еврей, одним словом—путанная история, но сослан сюда, как еврей...

— Что так?

— Я—чистокровнейший русский. Был арестован, долго сидел, сам не знаю почему... Наконец, благодаря связям, меня освободили из тюрьмы с условием, что я навсегда уеду за границу. Ничего не поделаешь: пришлось испытать прелести этой милой выдумки Плеве, как избавляться от русских верноподданных...

— Я побродил за границей, потолкался в Мюнхенской колонии, наболтался, начитался литературы, и «ле», и «не», а в особенности «не», но наконец Мюнхен надоел мне, как каждодневное употребление честной кружки пива! Я решил вернуться в Россию. На этот раз я знал, что делать. Паспорт, настоящий паспорт, раздобыл у одного студента политехника... с моей нынешней фамилией. Другого паспорта не оказалось. Студент этот, мещанин, голый бедняк, решил пробыть в Германии безвыездно все пять лет учения. Его, как еврея, в России не приняли, благодаря какой-то дроби процента. И, желая хотя чем нибудь «способствовать освобождению России», он подарил мне свой паспорт и свое «незапятнанное» имя. Я благополучно перебрался через границу и начал работать в губернском городе. Заведывал нелегальной типографией. Вы бы посмотрели, как хорошо у меня было поставлено дело! Я проживал в качестве комми-вояжера. В спальне находился станок, набор. В первых же комнатах все имело самый пристойный вид. Старший дворник—отчаянный сы-

щик—не давал мне покоя, как еврею. И тогда я начал приглашать его сам: то посмотреть, нет ли сырости в углу, который примачивал водой, то под другими предлогами. Очевидно он заверял полицию, что все у меня вполне благонадежно... Конечно, в качестве еврея, я давал ему хорошо на чай...

— Я очень скоро понял, как тяжело живется евреям, как гнусно их бесправие, какое оно издевательство над самыми примитивнейшими правами человека... Меня третировали все младшие дворники, каждый полицейский крючок... И всякий из них старался придумать, почему ненавидит или не любит евреев... А я, шкурой попав в положение еврея, знакомился ближе с этой безысходностью... Всякий гнет давит и душит только до известного момента. Дальше он начинает «воспитывать». И часто, думая о положении евреев, я не мог понять, почему не все до одного евреи революционеры!

— Ну, хорошо, но разве окружающие не замечали, что вы русский, ничем не похожий на еврея?..

— Как же! Именно замечали! Оттого при мне чаще завязывались отвратительные юдофобские разговоры и тем острее я чувствовал их безобразие, что видел скверные перемены, когда назывался своей еврейской фамилией. И мне это доставляло удовольствие. Точно дразнишь... Но каждый раз мне все сразу же, с желанием сказать приятное, одобрительно замечали, что я не похож на еврея, и успокаивались, не заподазривая фальшивости моего паспорта! Кто же, не будучи евреем, пожелает назваться евреем?.. Впрочем, в этом отношении публика удивительно беспечна... У меня был приятель черкес. Он бежал с Кавказа после какой-то кровавой демонстрации и должен был скрываться. Дикий человек! Я ему говорю, что Нева замерзнет и по ней люди будут ходить; он не верит, обижается, думает, что над ним смеюсь, и раздраженно замечает: «Терек не замерзает, Нева не замерзает, смеешься, кинжал в бок хочешь?!» Так вот этого парня поселили с паспортом чухонца — финляндского уроженца. Они все—белобрысые, а этот черный, как смола, смуглый, нос двуглавым орлом торчит, ноздри так раздуваются!

— Шляется он по городу целый день, шляется, приходит домой поздно ночью, а ворота заперты. Звонит. Дворник долго не отворяет, он и кричит ему:—«Зачем ворота затворяешь, кинжал в бок хочешь?!»—И ничего! Представьте себе, все — и дворники, и прислуги находили, что он на чухонца не похож, очень удивлялись, но никому не пришло в голову именно на эту сторону обратить внимание... Преблагополучно парень таскал по городу прокламации...

— Что же было с вами дальше?..

— Да, вот, жил я точно еврей... И не знаю, как дальше сложилась бы моя жизнь, если бы не настойчивая необходимость ездить с литературой по городам, селиться и вне черты еврейской оседлости...

Неудобно мне было для таких городов менять паспорт, да и для типографии было полезно, чтоб на паспорте появлялись прописки моего коммивояжерства... Одним словом, я решил «принять православие»! И, представьте себе, принял его по настоящему—с раздеванием, окунанием!.. Помню, когда я был мальчиком, гимназический священник, рассказывая нам о разных таинствах и говоря о священном миропомазании, указывал на то, что православный может удостоиться его только один раз в жизни, что единственное исключение составляет царь, приемлющий и второе миропомазание при короновании... Батюшка благоговейно об'яснял, почему сие важно... И оказалось, что я, простой смертный, нисколько не желая богохульствовать, исключительно в силу политических условий, тоже «удостоился» второго миропомазания... Но я расскажу вам, что произошло со мною дальше... Я полюбил еврейку. И она полюбила меня. Ее родные были старые ветхозаветные, родовитые евреи. Они желали, чтоб она вышла замуж, соблюдая все установленные обряды. Для них это был вопрос всего содержания жизни. Сказать же им, что я «еврей», принявший православие, она и подавно не могла... Одним словом, получалась целая трагедия... Выручил арест обоих. Нас сослали. Ее отправили во внутреннюю губернию, меня—сюда. Она просила о переводе. Конечно, подальше согласились. Таким образом, мы и поженились. Тут и живем. Жаль мне очень, что она не могла поехать с вами на

пароходе, но как раз кормит нашего новорожденного мальчика... Нельзя бросить... Теперь, когда жена—еврейка, мое «происхождение» ни в ком не вызывает подозрения...

И у нас завязывается длинный, неумолчный разговор...

— Вас интересует положение политических ссыльных, их путешествие этапным порядком? Об этом подробно могла бы рассказать вам моя жена... Чего только она не натерпелась, идя ко мне сюда... Юная, неизведавшая жизни, девушка «следовала» ко мне «на казенный счет»— из тюрьмы в тюрьму... В Александровской пересыльной тюрьме под Иркутском у ссылаемых мужчин, главным образом, товарищей-рабочих, было очень грязное белье, а денег на мойку не имелось... И тогда жена вымыла им белье... И у нее руки были в крови... А потом передряга этапов на станках Лены — эти черные деревянные ящики без окон, со щелями вместо них... Страшные клоповники с «живой» движущейся трухлявой соломой, вместо матрацов... Погодите, услышите еще, увидите... А это унижение, это издевательство над людьми грубых дикарей—конвойных офицеров?!..

Вот и Витим! Это — самый крупный промышленный центр на Лене—теперь брошенная «резиденция». Он приютился в пади между двумя горами, покрытыми тайгой. Много домов, настроенных и покинутых обитателями... Точно дачи под Петербургом зимой... На плоском и покатом берегу один из одноэтажных домиков украшен настоящим палисадником с насаженными деревьями, окружен изгородью,—штакетом из сосновых планочек,—выкрашенной настоящей масляной краской... Это — единственный белый забор, виденный мною среди исключительно грязных, темно-серых заборов всего побережья бесконечной Лены... И на паузках-барках, и на берегу, и по улицам— много разных лавок; у некоторых, точно флаги, висят длинные шарфы с бахромой — это «галантерейные» магазины!.. На прибережных рундуках продается балык, привезенный с Ледовитого океана... В бакалейных лавках, под видом кваса, охотно отпускают пиво по тридцати копеек бутылка... Имеются даже лимоны—всего по 20 копеек за

штуку!.. Одним словом, несомненно здесь торговля не уступает якутской... Но улицы почти безлюдны. Зато Лена полна паузков и других судов, как нигде от Жигаловой до Ледовитого океана! Пароход, загибая против воды, ведет баржи на Бодайбо... Но не только Лена кипит здесь работой: витимский телеграф стучит день и ночь непрерывно... Еще четыре года назад телеграф, соединяющий этот далекий приленский край с остальной Россией, был проведен только до Витима, а отсюда сворачивал на Бодайбо, к золотым приискам... Тут гремели на всю Сибирь «резиденции» богатейших золотопромышленников, а рядом в тайге находились их прииски. В Витиме были открыты разные конторы. Здесь можно было встретить много иностранцев, видных купцов и опытнейших инженеров... Теперь жизнь перешла в Бодайбо за триста верст отсюда. Раньше в Витиме бывало до шести тысяч жителей, теперь же не больше двух тысяч. Да и то половина пришлых. Раньше в Витиме случалось, что приисковым рабочим негде было переночевать, и они спали на улицах...

Политических в Витиме, как в «очень населенном» пункте, нет.

О Витиме мне рассказывает бывший поселенец—Иван Яковлевич.

— Более всего прославилась в Витиме «гостиница» Жарова. Дом был громадный, с мезонином, окон до сорока. Кроме гостиницы, тут было и питейное заведение. День и ночь гремела музыка — скрипка, бубны и орган... Раньше весь приисковый и таежный народ из олекминской системы, из дальней тайги, проходил через руки Жарова, но никто не мог просто мимо проехать к Усть-Куту... В то время приисковый и таежный народ был денежный... Придет приисковый в кабак и обращается к сиделице. — «Мать, выпить есть?» — «Есть». — «Дай-ка стаканчик!» Подает. Выпьет, и, если баба из себя ничего,—он ей золотом стаканчик и насыплет.. Тогда, бывало, заходят в лавку.— «Ситец есть?» — «Есть».—«Почем?»—«По 15 копеек и по рублю». — «Ну, так давай по рублю». А ему достоинство одно и то же. И стелет приискатель себе дорожку по грязи из ситца... Тогда для приискателей была вечная

каторга. Работа в рудниках тяжелая, сырая... Заработает, принесет в Витим, у Жарова деньги прокутит, а то оберут, и идет опять в тайгу и снова тоже самое, снова каторга!.. — Вечная, без конца! Деньги дальше Киренска никто, бывало, не выносил... Вот этим и воспользовался Жаров. У него закусывали по комнатам, а прилавок с буфетом находился отдельно. Он и устроил около буфета люк в подполье. А оно все внутри в больших острых гвоздях. Вот подходит прискатель к прилавку, вынимает деньги расплачиваться, видят—денег много, его сейчас и толкают в люк. Сам себя и закалывает. Были у Жарова особые «толкалы»—делились с ним... Как упадет прискатель в люк, Жаров и кричит:—«Ну, что, капуста готова»?—«Готова»,—отвечают «толкалы»,—«изрубили капусту». Тогда тащут они мертвого в Лену по подземному ходу. Эта вылазка была прямо в реку... «Толкалы» на Жарова и доказали. Жарова повесили. Дом долгое время стоял пустой. Потом его сожгли. А лазейка подземная существует и до сих пор, начинается там—около часовни и пивного завода...

— Как же их накрыли?

— С водки началось... Когда кто-нибудь у Жарова пил водку и напивался, ему, вместо одной бутылки, наставляли пустых бутылок... За наливку в 65 копеек брали 25 рублей... Был тогда горным исправником Купенко... Он наслышался про это и приехал в Витим посмотреть, как здесь с таежными обращаются. Оделся сам прискателем—в большие сапоги, бобровую шапку, с сумкой через плечо и красным шарфом на шее, с черной широкой опояской—«альпакой» в «решменке»—одеже, в роде татарского халата... Взял с собой такого же казака и пошел по кабакам. Приходит к Жарову и говорит целовальнику: — «Дайте мне наливки в 25 рублей».—Тот и отвечает: — «Есть у меня на верхней полке такая».—И подносит. Купенко сел пить и дает 100 рублей. Выпил и просит сдачу. А целовальник в ответ:—«Я тебе отдал». Купенко посмотрел на него и смеется:— «Ага, значит, отдал, тем дело и кончено!» Поднялся он, вышел, записал себе дом. А в это время из кабака человек выходит. На ногах крепко держится, а путь к реке на

берег направляет. На берегу ничего нет, вода в Лене уже замерзает. Купенко за ним следом и пошел. Только видит—человек этот спокойно раздевается, точно дома на печке, вынимает деньги и кладет рядом на землю, укладывается. А день был ненастный, холодный. Значит, у Жарова водкой с дурманом отравили... Тут только Купенко заметил, что следом за приискателем двое «толкал» идут подходят обобрать. Купенко тоже подходит и говорит: —«Это мой товарищ»,-и отнял его от них, подобрал деньги... А «толкалы»—ничего.—«Мы,—мол,—сами видели, что с ним товарищи есть, они и сейчас остались у Жарова, выпивают; он вышел на воздух, будто за нуждой, и пошел на берег, мы и погнались следом—спасать!» Все честь честью... Сошло... Не приди он с товарищами в кабак—и его бросили бы в подземелье, ну, а раз с товарищами—опасно, начнут искать!..

На другой день Купенко приходит к Жарову в форме и спрашивает сидельца:—«Где у тебя в 25 рублей наливка»?— Тот и отвечает: —«Ваше благородие, у нас такой нет».

— «Как нет, а вчера вы мне продали за 25 рублей, вот и не допитая»!

Сиделец отказывается, а Купенко его в морду—и требует сдачи 75 рублей. Сиделец 100 рублей подает...— --«Ну,--говорит Купенко,--ты мне все-таки покажи, где у тебя наливка за 25 рублей!..» Тот божится, что больше не будет обирать... Купенко ушел и решил поселиться в Витиме, пожить, посмотреть за порядком. Не нагрели бы его самого на той наливке, никогда не остался бы, и до сих пор все по старому шло бы... Вот однажды пришли к Жарову два крестьянина, приплавившие для продажи сено. Продали его и захотели выпить... Много ли у них было денег? А на них тоже польстились. Тут как раз к одному «толкале» жена его пришла, их живыми видела, говорила с ними... Стала она мужу советовать:—«Что ты делаешь?! Долго ли ты будешь еще людей убивать?»—Тот в ответ— «не твое дело!..» Ночью пришел он домой. Лег спать. Она взяла топор, отрубила ему голову и побежала заявить.— Ты,—говорят, — пьяна!—«Вы сами пьяные,—отвечает,—я говорю правду: голову отрубила!» Не будь здесь Купенко,

так все и покрыли бы. А то пошли за ним.—Как сказали, что у Жарова грабят — сразу поверил, пошел посмотреть... Она и подполье показала... Все тогда открылось, а ей ничего не сделали... У «толкал» языки развязались...

— В тайге, в Бодайбо, значит, было «допущено»...— убежденно и серьезно, без малейшего желания пошличать, говорит Иван Яковлевич.

— Что это? Не понимаю, — спрашиваю я.

— А так что было допущено—брать для пользования чужую жену, если она отойдет в тайгу на двадцать сажен от своего дома...

— Что вы?

— Очень просто: например, одна пойдет за грибами...

— И давно это было?

— Лет 15 назад... Не дальше... Конечно, не везде в Сибири, а только в тайге, на золотых приисках...—На то— Бодайбо!.. Если, значит, отошла от дома в тайгу, то всякий и мог повалить! И ничего за это не было... Потому что было допущено... Иногда целою толпою мужики наваливались!..

— Что ж, место было дикое, баб не было, мужиков много, жаловаться некому, ну, и было допущено... Чтоб никто не обижался... Была в тайге тогда жена одного приискового. Звали ее—«царь-баба»... Сорок душ могла выносить! Бывало так: один какой-нибудь волокита добьется своего, заманит в тайгу большими деньгами, даст, например, сто рублей, она и пойдет... А уж там десять человек ждут... Они и сложились на все эти деньги... В складчину, значит... Ну, конечно, чужая жена молчит... Да оно и все равно: ведь было допущено... В Бодайбо и сейчас про это наслышитесь случаев немало...

— А что такое Бодайбо?

— Как, вы не знаете Бодайбо? Да ведь это—богатейшие на Сибирь золотые прииски... Еще на днях провезли оттуда на почтовом пароходе 217 пудов золота—на три с лишним миллиона рублей... А вы и не слышали о таком крае...

— Как же везли столько золота?

— Везла почта в сумах. День и ночь на пароходе стоял караул. Два почтальона с револьверами и шашками. Ехал тоже почтовый чиновник, проверял свой участок и начальник почтового отделения... Золото было в слитках, по пяти-шести пудов, а места на пароходе занимало всего одну кубическую сажень... Сам видел: наши пароходы встретились, остановились... Каждую неделю оттуда отправляют по десяти-двенадцати пудов... — Настоящий клад это Бодайбо!..

— Кто ж его открыл?

— Лет пятьдесят назад один кочующий тунгуз... Вообще тунгузы скрывали места с золотом, чтоб у них не отнимали пастбища. Но тунгуз этот сообщил-таки розыскной партии компании купцов Сибиряковых, что натолкнулся на золотую россыпь. Они бросились за ним и поставили столбы... Для верности под столбы положили камни и бумагу, а сами подали в горный округ заявление... Стали Сибиряковы разрабатывать. Три года ничего не надо ни за землю, ни в казну платить. И оказалось, что тунгуз указал им золота на несколько миллионов!.. Тунгуза этого Сибиряковы кормили до самой смерти, давали ему муку, масло, мясо, подарили ружье и перстень, а его жене серьги... Так и началось Бодайбо...

— Чтож, оно большое?

— Теперь это—город. Собственно городом оно стало всего один год назад... По величине Бодайбо такой, как Витим, и даже домов меньше, но зато раскинуты они на большой площади... Место гористое, площадей немного, у реки Бодайбо же, а все остальное разбросано на горе по склону... Кругом Бодайбо, как и везде на приисках, стоит стеной тайга, да тянутся высокие горы... Оттого собственно, когда на Лене говорят про населенное место— «в тайге»,—то это значит на приисках вообще, а теперь, когда там больше всего приискателей,—на Бодайбо... Небольшой городок, а посмотрели бы, какая там торговля, как жизнь кипит!..

— А много там жителей?

— Кто его знает... Смеются очень над Бодайбо. Из столицы сделали его городом, а на месте гласных и голову

найти не могут. Нет таких домовладельцев, что не были под судом. Все сосланные да инженеры. Так и не устроено до сих пор управление...

— А вы там бывали?

— А кто же там из нас не бывал, не искал счастия?! Только страшный то край, легко погибнуть там без счастья за кусочек золота с наперсток...

— Почему?

— Много убийств, грабежей... И не поймать! Там богатеют в раз. Будь ты хоть последний ободранец и сори деньгами, как пьяный купец,—никто не спрашивает откуда деньги? У вас в России, помню, если кто, бывало, разбогатеет, все допытываются, где достал капитал... А здесь и ответа не надо: из тайги, с прииска... И отлично здесь грабежи сходят... Все тайга покрывает... И всех скорая нажива там захватывает... Если судебному следователю сейчас нужно оттуда послать телеграмму, то он отправляет за 200 верст с нарочным, хотя телеграф под боком в соседнем доме... Не пошлешь с нарочным,—все убийцы и грабители будут знать—что следователь написал... А как соображают, так и неизвестно... Должно с кем-нибудь делятся... Соблазн всем большой... Я сам раз золото сдавал в лабораторию. Четыре фунта в обрывке полотна, так тряпочка завязана, а в ней на 1.800 рублей—точно, ни копейки меньше!..

— Какое же оно на вид?

— Разное: то клочки, то слитки, самородки, как орех, то как мука... Попадаются слитки, как полоскательная чашка, весом до пуда... Лазил я, воровски значит, в брошенную шахту... Когда проводят шахты, то оставляют земляные столбы и с нетронутым золотоносным слоем... Их не трогают, чтоб держали потолок. Я и таскался с товарищами, выбирал из них золото. По 60 рублей на брата за пол-дня вышло... Но только страху смертного набрался... Ступенек нескольких на лестнице не оказалось... темнота, глубина отчаянная, сунулся, сорвался и повис на руках... Холод страшный, лед, скользко... Внизу, точно бездна... Товарищи веревкой спасли... Думал, пропадать... Дал себе зарок больше не лазить... А другие и сей-

час забираются, не боятся, что землей завалит, разбирают столбы... Разбогатеют, на носилках катаются...

— Как так?

— Очень просто. Сделает себе приискатель носилки, обобьет плисом, сядет, обмотает шею длинным шарфом, хоть лето жаркое, и его несут на плисовых подушках к шахте из квартиры на руках...—Кругом с «под‘емным золотом» поздравляют...

— А это что?

— Под‘емное-то золото?—Положение такое там... Если работаешь в шахте и нашел среди песку самородок золота, — он твой. Но под‘емное золото обязан продать в свою контору. Раньше давали по рублю пятидесяти копеек за золотник, а теперь не менее трех с полтиной. Платят больше, чтоб не носили соседям... При мне один паренек в первый раз в жизни под землю спустился и сразу же поднял на 500 рублей... Его в тот же день и убили...

— Ну? Кто же это?

— «Сибиряковские Иваны!». Много там пришлого народа, никто его не знает, а есть такие, что их не знают их же родные... Как волки, на добычу с‘езжаются... Десятого сентября на приисках кончается отработный год, тогда они разбредаются, и Бодайбо от них пустеет... Сейчас новый закон вышел, может легче станет...

— А какой закон?

— Насчет «хищнического золота». Нельзя было покупать его у рабочих, нельзя было рабочим продавать его не в контору, а прямо в золотоплавлю. Теперь больше «хищническое» не продают в Китае... Еще накануне того, как в Бодайбо был об‘явлен новый закон, торговец Торминский вез золото в отводах саней, в которых были продырявлены дыры и вставлены железные пеналы. Кто-то на него донес. Сделали обыск, нашли золото. Он его честно скупил у рабочих: у кого найденное, у кого, может, и краденое... Накинулись на золото. Он решил, что ему пропадать, как не верти, на каторгу итти, такой закон был, а на золото все состояние ухлопал... Перекрестился да тут же и застрелился... А на завтра новый закон при-

шел, что за это никакого наказания более не полагается... И закон-то месяца два назад вышел, когда Торминский в пеналы золото собирал...

— А как производится работа на приисках, какие там шахты?

— Я там работал пораньше и как сейчас — в точности сказать не могу... Много новых инженеров туда наехало, сами мы возили, наверно и перемена какая-нибудь есть, а только шахты были устроены так: в земле вырыт колодезь сажен тридцать глубины. На верху ходят две-четыре лошади, подымают, опускают две бадьи. Лестница в колодезь наложена коленами... Рабочие опускались иногда в бадьях, да обрывались, поэтому инженеры и запрещали, требовали по лестницам спускаться. Самые шахты, корридоры под землей, сказать, у Сибирякова — высокие, в сажень высоты, так что можно ходить, не сгибаясь. Под землей они тянутся верст на пятнадцать! Москву там у них можно разместить... Ну, конечно, есть люки для воздуха... Над главным колодезем на столбах навес...

— А какие условия работы?

— Платили нам за бадью с пуда, по 2 копейки за пуд песку. Под землей работали с пяти часов утра до шести часов вечера. Работали с факелами...

— А лампочек особых от подземного газа разве не было?

— Нет, только факелы... Зато в шахтах воздух стоял ужасный, задыхаешься бывало... Факел хороший, а едва горит... В носу всегда черно от копоти. Кашлянешь и слюна—как деготь!

— Как же находили золото?

— А есть такие рабочие, которые сразу узнают золотоносный пласт. Пусть самородок «в рубашечке»—в черном грифеле что ли, он его тотчас заметит!..

— Как же в шахтах, сыро?

— Есть шахты, где с потолка точно дождь льет! Слабый грунт. Тогда дают особые кожаные шляпы с большими полями... Тяжелая работа, и говорить нечего!

— А какое это Бодайбо из себя?

— Резиденция, прииска, казармы для рабочих, магазин находится на реке Витиме... Есть там телеграф и электрическое освещение... По вечерам граммофон в домах играет и поет... Купец Дубников туда первый привез... Еще на пароходе, как вез, завел... Так, будто целый хор поет! Диво-то какое! Среди таких глухих берегов, такого страшного безлюдья, на маленьком пароходе целый хор цыганок любовь славит!.. Вся команда сбегалась слушать, пароход чуть о камень не распороли...

— А что, кроме золота, еще что-нибудь в Бодайбо добывают?

— А как же! От Бодайбо до Ешевки через Бодайбикский мост дорога на серебряные рудники ведет... Всего верст сорок... Только дорога туда страшная, над пропастями...

— И зимой работают?

— Да, и летом, и зимой, иногда и днем, и ночью в две смены...

— А как промывают золото?

— В бутаре жолоба сделаны зарубки-плинтусы. Золотой песок идет по жолобу с водой. Золото тяжелее и застревает в зарубках... Раньше за эту работу платили рабочим помесячно, по 20-25 рублей в месяц на всем хозяйском—и квартира, и харчи, и баня... Как сейчас платят, не знаю... Только знаю хорошо одно: нигде нет такого пьянства, как на Бодайбо... Одни сторожа на отработанных приисках разве не пьют...

— Что так?

— Да как отработает прииск, выберут все золото или станет его мало, невыгодно работать, тогда компания бросает все: и резиденцию, и постройки, и казармы... Все уходят отсюда прочь, и среди гор оставляют одного сторожа. Безлюдье страшное... Тут водки не достанешь! Питается тем, что компания оставила в запас, а какая компания станет своего же сторожа поить?!.. Да-а... Интересный этот край и никто его до сих пор из газетчиков не посмотрел, не описал... Инженер один оттуда ехал

с нами и все говорил: и есть же у нас в России своя Америка, своя Калифорния, и никто о ней даже не знает, ничего не слышал! [1].

За Витимом Лена меняется. Река становится еще более широкой, еще более могучей... Прибрежные горы идут волнистой линией. Куда ни глянь, всюду громадные «курганы», сверху до низу покрытые густой мохнатой тайгой... А за ними разноцветная даль таких же громоздящихся гор...

Теперь горы тянутся выше к небу, то отступают от берега, то нависают над ним... Внизу они заросли все той же тайгой, то, попрежнему, густой, то жидкой из тоненьких, как палочки, елей. Камни покрыты мхом темно-малиновым и светло-зеленым, точно осенью спокойно дремлющее под пологом ряски луговое озеро родной Украины...

Посреди гор отдельные скалы, будто навсегда покинутые людьми, страшные руины древних замков осыпались от бурь и ненастья мелким серым камнем.. А на самом верху гор красуется остроконечной щетиной тайга... Иногда горы—тяжелые, темной грудью навалившиеся на реку—кажутся какими-то чудовищами... То в падях и логах между горами новые горы стоят сейчас же преграждающей каменной стеной, то сами пади густо покрыты тайгой и далекой щелью вытягиваются к синеющим на горизонте сопкам... Среди этих необ'ятных пространств редко-редко на той стороне реки покажется небольшая деревушка, придавленная, темно-серая, чуть пестреющая точками более новых крыш, сбитая в кучу, как далекий табун лошадей... Она жмется на расчищенном от тайги плоском берегу. Сбоку ее желтеют посевы, и снова тайга... Небо—либо светло-голубое, безоблачное, либо серое, нависшее над рекой клочьями ваты... Вода у берега—почти черная, переливаясь, ярко блестит зигзагами быстрого течения...

[1] В Бодайбо расположены Ленские прииски, ставшие известными по знаменитому Ленскому расстрелу рабочих 4-го апр. 1912 г.

Там, дальше, где горы перестают отражаться в воде, Лена кажется стальной...

Посреди реки плавают громадные белые лебеди... Черные гагары, едва завидев пароход, поднимаются и медленно, тяжело летят над поверхностью реки, касаясь ее глади и оставляя после себя серебряный след, пересыпанный хрустальными брызгами...

Пароход бежит. Мы нагоняем какую-то странную, многолюдную «посудину»—паузок.

— Смотрите,—говорит капитан,—ведь это паузок с политическими. Сколько их везут, и куда везут!

Четыреугольная каюта ящик с плоской крышей паузка по бокам украшена зелеными ветвями дерев. На крыше толпится, точно на вечеринке, молодежь. Завидя пароход, все они теснятся у борта крыши.

Я снимаю шляпу и начинаю раскланиваться. Пусть знают, что и среди пароходных пассажиров есть люди, им сочувствующие... Они отвечают... На носу и корме паузка внизу стоят угрюмые часовые...

Наш пароход проезжает мимо, и мы уже далеко впереди... Но с крыши паузка все еще доносится пение о том, что нет на Руси такого угла, где бы русский мужик не стонал... Вечереет... Над крышей паузка взвивается дымок...

— Обед себе государственные варят,—об‘ясняет капитан.—Там у них на крыше ящик с землей лежит, на нем костер разводят и варят себе сами, как на маевке... Теперь, после бунта в Якутске, их положение полегчало, а то—не то, что на берег—на крышу не выпускали... Задыхайся целый месяц в этом ящике без окон, точно в гробу живой...

VII

Нохтуйск.—Таможня двух губерний.—Мачь.—В пути к Охотскому морю.—Первые якуты.—Олекминск.—Скопцы.—«Столбы» Лены.—Романический Покровский монастырь.—Якутск.—Политические контрабандисты.—Шлиссельбуржцы Панкратов и Шебалин.—Неукротимый Кац.

— Вон там, за этой полосой тайги, кладбище у дороги,—говорит мне капитан, указывая на берег,—Лена сюда поворачивает...

— Кого же там хоронят?—спрашиваю я.

— Желающих!

Никакого кладбища не видно. Я ничего не понимаю, и довольный капитан торопится об'яснить свою загадку.

— За этим бережком находится Нохтуйск. Пьяное место,—ворчит уже не без раздражения капитан, всегда такой добродушный.—Яма. Каждый порядочный человек, попав сюда, спивается и погибает.

— Что же это за место?

— Нохтуйск. Таможня.

— Какая таможня?—изумленно спрашиваю я.—Какая же здесь граница?—повторяю я, полный недоумения.

— Иркутской губернии и Якутской области!

— Но при чем же таможня? Ведь это Россия!

— Положение такое...

— Какое положение?! Я понимаю еще существование таможни между Финляндией и Россией, но какая таможня нужна здесь между губерниями?

— А порто-франко? В Якутской области нет пошлины на чай, сигары и другое такое. Вот и устроена таможня. Входят на пароход два чиновника с тремя солдатами,

осматривают багаж, спрашивают, нет ли чаю. В этом и таможня! Хорошо, если никто из них не выпивши. А то, если пьян, то и командует себе на здоровье пароходом. И слушайся пьяного, иначе прикажет снести все вещи на берег. Что тогда делать?! Ведь сутки лишние простоишь. Сейчас нас смотреть не будут. Только по пути из Якутска. Но мне надо бы и сейчас принять меры. Я, как на несчастие, везу с собой пустые бочки для рыбы. У политических можно дешево нельмы купить. Они тоже выезжают на лов... Вот я и думаю насчет таможни, забота берет, знаете, теперь не поладишь, на обратном пути всю икру вытрусят!..

— Масло тоже будем на обратном пути сюда везти— сотнями пудов из Якутска в Нохтуйск возим. Упаковано оно в особых больших тюках из березовой коры... Тысячу верст провезешь благополучно, а таможенные в этом кладбище хотя что распорют... Хоть бы на пароход зашли! Уж я бы их принял по хорошему, с почетом.

В самом деле за полоской тайги, пологими, невысокими горами, показывается Нохтуйск. Оказывается, что кладбище живых выглядит веселее других приленских «населенных» «живых» пунктов. В Нохтуйске есть белого цвета постройки, дома три с выкрашенными белою же краской ставнями... И потому нет обычного унылого беспросветно-серого вида... К огорчению капитана, в Нохтуйске таможенные чиновники так и не являются на пароход. Политические ссыльные тоже не показываются на берег,—потому, кажется, что здесь они и не живут...

Наш пароход отваливает дальше...

— Вон там, по ту сторону Лены, деревня Мачь—бывшая золотопромышленная резиденция, кругом золото в тайге добывали,—говорит капитан...

— И чтож там никого нет?

— Есть, так, жалкая деревушка, церковь сохранилась, два магазина и сейчас торгуют... Старых пряников мятных можно купить... Один политический тоже живет. На лодочке все ездит... К пароходу, должно, выедет... Если спать не укладывается... Рано здесь ложатся...

— Который теперь час?—спрашиваю я капитана.

— Местного времени нет. Вышло, раньше было...

— Как так?

— Был здесь в Нохтуйске ссыльный—часовых дел мастер, да давно уже из здешних краев вышел...—отвечает капитан и смеется себе в бороду...—Хоть бы и таможенные чиновники ушли!

— Что вы на них сердитесь! Чего вы смущаетесь, провезете свою рыбу исправно.

— Да помилуйте, тут бы через Лену из Китая чай возить, а таможня все дело убивает. И такая река остается не при чем...

— Да что вы говорите: чай из Китая по Лене?! Уж не из Ледовитого ли океана?!...

— Зачем так далеко? Спуститься по Лене пониже Якутска всего на 250 верст, и потом на восток по реке Алдан до устья реки Майа, впадающей в Алдан. От устья Майа и по реке Нелькану, впадающей в нее, всего 300 верст. От Нелькана же к Охотскому морю по суше— не более 200 верст! Только сутки дороги! Одним словом, от Якутска до Айяна через Охотский перевал всего тысяча верст... Из Китая в порт Айян через Японию и приходят пароходы...

— Представьте себе, об этом пути нигде ничего нет в учебниках географии, и я никогда не слыхал о нем...[1]

— Да ведь его недавно только открыли... В 1894 году пароход «Витим» совершил туда первый рейс до Охотского перевала... Раньше туда пароходы не ходили. Редко кто пробирался в неведомый край на лодке. Я попал тогда на «Витим». За 14 суток мы с‘ездили туда и обратно. На пароход сели: преосвященный Мелетий со свитой, якутский губернатор Скрипицын и управляющий пароходства «Громова» Щербачев. Архиерей занял общую женскую каюту, а губернатор поместился в двухместной. Ехали мы с остановками. Якуты кое-где выходили к пароходу. Полиция сгоняла их с кочевьев. Везде, где они пока-

---

[1] Этим же путем в 1921 г. прошла военно-морская экспедиция Красного Флота, в целях подавления белогвардейщины на побережьи Охотского моря.

зывались, служили молебны, ставили кресты, архиерей собственноручно навешивал на кресты иконки, а мы красили кресты разноцветной масляной краской.

— Дело было в июне. Местность оказалась страшно пустынной. Никто нигде не косил. А трава попадалась и в рост человеческий... Нигде не было и полей... Ни одной деревушки не видели мы на всем расстоянии 800 верст.. Было только несколько жалких юрт в разных местах... А край оказался благодатным. Очень тепло, хоть к северу ближе! Много теплее Лены. Может, оттого, что горами с севера тот край закрыт...

— На Лене ночью в шубе, а там в одной рубахе... Второго-то июня трава была уже зеленой, а по Лене и не распускалась. В траве там много цветов. Хорошие леса. Много тополя, как на юге по Амуру... Тальники тоже высокие, одним словом,—дуги роскошные только делать! На островах на половину густой тальник, в роде ивы, наполовину ельник, много орешника... Хороший дикий виноград даже оказался. Правда, в свежем виде слабит!... Один скопец потом вино делал, по 80 копеек за бутылку продавал... И вино было очень хорошее... Скопца убили, и виноделие прекратилось... Река—рыбная: нельма, осетер, стерлядь, таймен, карась... Местность такая, что не выбрался бы!

— Когда ехали мы обратно, к берегу, на том месте, где поставили белый крест, собралась толпа якутов, со стороны, издалека. Приехали посмотреть на пароход и на людей, себя показать.

— Заседатель уверял, что никого не созывал: как узнали, сами приехали... Приполз и старик-якут 127 лет! Худой, скрюченный, точно кащей—одни кости. Скелет да и только! Дикарь и никаких! Да они и все дикари оказались. Представьте, женщины летом по-африкански ходят— голые, как Адама рисуют. Подходят, просят табаку и не стесняются. Просто от совести я избегал их... Как замуж вышла, так адамову кожу дают... Но только вначале страшно глядеть, а после точно привыкаешь... Да и они какие-то черные. Может, от грязи и солнечного загара... Старик тоже был голый, в одной рубашке, в роде жен-

ской... Миткаль и до него как-то дошел! На руках его к самому архиерею поднесли. Видно, легко несть! Старик белый колпак одел, как к смерти приготовился. Все дали ему что-нибудь. Губернатор десять рублей отпустил, Щербачев пять рублей, а архиерей на него хороший медный крест одел... Дали ему с парохода сухарей... Деньги его вручили на хранение старосте, чтоб не растерял.. Видели бы вы, как глядел старик на пароход! Но больше всего поразил его архиерей. Он его за настоящего бога принял... Глушь там какая!

И он рассказывает обо всем этом, не замечая того, какая пустыня кругом на Лене... Ведь уже и для нас целое событие, когда на берегу покажется деревня с десятком-другим серых, придавленных домишек... Когда мы ехали обратно, то сплошь и рядом в течение целых суток не видели одной избенки...

А между тем в этих громадных горах, набросанных природой по берегам Лены, таится не мало золота, серебра, лежат необ'ятные залежи каменного угля... И все это брошено и мыслию и трудом человека, и рука его не касается сокровищ голодающей страны.

— Скоро в Олекминск приедем,—говорит мне кто-то.— Видите, начались красные горы... Раньше сюда ездили зубы лечить. Теперь—пожалуйте в Якутск. От Иркутска до Якутска ни одного зубного врача! В Олекминск была сослана политическая М. С. Зеликман. Как раз по середине дороги, удобно было... Хорошо лечила... Только у председателя Якутского окружного суда зубы разболелись. Ее и перевели в Якутск, подальше в ссылку, чтоб лечить его. Там она и осталась. Ее за содействие политическим в романовском бунте, тоже привлекли к суду... Теперь на все тысячи верст ни одного зубного врача не останется, если в каторгу ушлют!...

Мы причаливаем к берегу Олекминска—«большому» селу. На пологом берегу стоят толпой скопцы. Они вынесли в корзинах огурцы, репу, морковь, капусту. По копейке за хороший большой огурец... Все с удовольствием

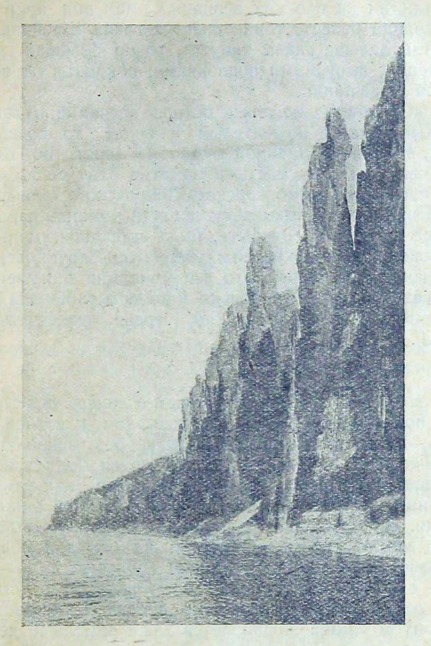
набрасываются на овощи и на пароходе устраивается пир... Олекминск сливается с Спасским—где живут особо скопцы.

Деревня точно мертвая. Изумительно отсутствие детей... Нет шума, нет песни... Даже собаки какие-то угрюмые, безмолвные,—должно быть от того, что росли без детского общества. Дома хорошие, лучшие на Лене. Окна крашеные, большие, в три рамы, с занавесками. На подоконниках цветы... все это из косточек лимона, винных ягод... На стенах часы, есть самовары.

Изумительно красивы берега Лены в 100—150 верстах от Якутска. Нигде в мире я не видал таких изумительных, фантастических, диких и волшебных берегов, как «Столбы» Лены. Сибиряки знают им цену... И если пароход идет мимо «Столбов» ночью, их стараются осветить с парохода, чтобы не упустить это замечательное зрелище... Если бы иностранцы осведомились, как оригинальны, самобытны и не похожи на все известное «Столбы», они преодолели бы все трудности, чтоб только посмотреть это чудо природы... А у нас!?.. О них в Европейской России даже не слышно!..

На высоком отлогом берегу Столбовки, впадающей в Лену, одиноко стоит среди зелени, точно монумент, колоссальный каменный столб, остроконечный, заканчивающийся шаром, и за этим обелиском самой природы начинается бесконечная вереница разнообразных «столбов»... То они высятся, как разрушенные замки, в которых некогда жили гиганты, то идут один за другим, точно закутавшиеся в черные плащи с капюшонами исполины-монахи, то скалы стоят, будто жилые дома с окнами и дверями... Иные скалы соединены живописными мостами, перекинутыми над пропастями... Другие с пещерами, мрачными и таинственными, как на картинах Бёклина... Эти блестят от живых струй падающих водопадов; те склонились, словно готовые упасть, в предсмертной агонии... И снова бесконечной вереницей выступают высокие, резко торчащие среди голубого неба столбы, точно искусно выточенные колонны...

Лиственницы забрались и на эти недоступные вершины! Зато на других—не видно ничего, кроме седого мха. Иные



Каменные столбы на берегу Лены
(в 100 верстах от Якутска)

скалы чернеют от проникающих в глубь щелей, другие светятся щелями насквозь, точно от нарочно устроенных окон. У иных слои камня лежат так, что горы кажутся

покрытыми—то серой, то черной, то желтой чешуей... Иные столбы совершенно желтые, другие совершенно черные. Но у многих на плоских вершинах мох под яркими лучами солнца белеет, точно снег на горах Швейцарии...

А там дальше скалы тянутся, точно большая крепостная стена с вычурными подпорками, покрытая от времени красной ржавчиной...

За «Столбами» начались острова песчаные, отлогие, то покрытые мелким пожелтелым ивняком, то совершенно голые... Река уже шириной около 10 верст, но она вся в островах, и только местами заметен этот ее простор...

Мы проезжаем мимо женского Покровского «монастыря», одно имя которого вызывает смех всей команды парохода... Его уже собирались открыть, была выбрана игуменья, должны были приехать архиерей и губернатор. Вдруг совершенно неожиданно выяснилось, что все монахини с игуменьей во главе разбежались, как только в монастырь попала партия кавалеров приискателей... Увы, сердце человеческое не камень!..

Но вот и Якутск! Мы проезжаем осеннюю «пристань»—берег, покрытый ивняком, и подплываем к летней «пристани»—высокому и крутому берегу, без признаков растительности и вообще каких бы то ни было признаков настоящей пристани... Городок небольшой, как самый захолустный уездный. Лучшее здание—казенной винной монополии. На весь город один большой двухэтажный деревянный дом реального училища и несколько домов с мезонинами... Правда, есть еще один «большой дом»—«ряды лавок» в центре города,—одно из лучших украшений его... Стены этого одноэтажного дома побелены, а выступающая зонтом крыша подпирается даже круглыми деревянными колоннами. Посреди дома ворота полукруглой аркой... Через эти ворота, для ускорения пути, часто водили подсудимых «романовцев» на суд...

Остальные дома города—избы серые, монотонные, без побелки, без красочного пятна... Кое-где попадаются, в особенности внутри дворов, настоящие юрты...

Улицы немощеные... Фонари редки... Пыль отчаянная, в особенности, когда городовые мирно метут улицы, точно они столичные дворники... Тротуарные мостки деревянные, в ужасном виде, не сбиты даже гвоздями, все в дырьях... В городе несколько магазинов, где на-ряду с чаем, сахаром и конфетами, продаются меховые рубашки-кукашки, ружья, револьверы, патроны...

Есть базар, где можно купить гребень или шкатулку из мамонтовой кости и красивую, но тяжелую бобровую шапку за 25 рублей... Бобровые воротники, дорогие меха чернобурой лисицы, соболя с блеском, белый, как снег, песец, продаются на простых уличных рундучках... Правда, и бобер не камчатский, но соболя высокой марки!..

Торговли в самом мертвенно-тихом городе никакой, так как каждый закупает на целый год вперед все нужное во время ежегодной ярмарки на торговых паузках, прибывающих сплавом по Лене и останавливающихся целой флотилией у берега. Развлечений тоже никаких, кроме заезжающих летом балаганов-цирков, жалких своей бедностью и полным отсутствием изобретательности. Для бесконечной зимы, беспросветно темных дней, для забвения от диких морозов, замораживающих мысль, есть общественное собрание, в котором пьют хлебный квас (вместо недоступного здесь пива!), играют в карты и дают изредка любительские спектакли.

— Пойдем выпить!—значит здесь: пойдем распить бутылку кваса...

Старинная деревянная башня, старинная церковь, несколько обыкновенных церквей, из которых в двух служат по-якутски... Губернаторский дом—в роде небольшого помещичьего в деревне...

Окружный суд в доме, с мезонином и колоннами на фасаде, производит тяжелое впечатление какого-то надругательства над храмом правосудия... Грязный, запущенный...

В городе имеются извозчики — одноконные высокие брички, а по улицам ездят запряженные в оглобли низкорослые быки, иногда летом тянущие сани вместо повозок... При восьми тысячах жителей в Якутске нет ни фабрик,

ни заводов. Производств местных никаких абсолютно. Поэтому здесь фунт свечей доходил в своей стоимости до 85 копеек, керосин до 1 рубля за фунт и только водка пользуется тут, как и везде в России, привилегией — она не бывает дороже 55 копеек бутылка; да всегда можно дешево купить чай цыбиком и в развес бумажным кульком...

Хотя время прибытия парохода никому не было известно, меня встретили местные политические, случайно находившиеся на берегу, помогли с вещами, довезли домой... И я сразу же окунулся в атмосферу их жизни, интересов. Они заранее наняли для нас лучший дом в Якутске. И, тем не менее, первое, с чем подошел ко мне приехавший ранее другой защитник Зарудный, был далматский порошок...

— Это я для вас заранее приготовил, — сказал он, протягивая солидную коробку порошка.

— Что вы?!—Да разве я в клоповник приехал?—спросил я в изумлении.

— Увидите,—отвечал он, улыбаясь.

Когда мы вошли в дом, он указал на стену.

Я глянул и ахнул. Ничего подобного не видел в жизни!

Стены буквально копошились... Клопы, точно пчелы около улья, выползали из щелей и беспечно ползали по стене...

К ночи мы отставили кровати от стен и обвели их лентой далматского порошка, точно заколдованным кругом, а затем засыпали им постель во всех направлениях...

По окончании слушанием «романовского» дела, мне посчастливилось познакомиться сравнительно близко с якутами и побывать у них на первом с‘езде, обсуждавшем нужды края. С‘езд состоял, главным образом, из настоящих или бывших улусных голов, т.-е. волостных старшин, а также и более образованных якутов. Происходил с‘езд с разрешения губернатора. Заседание его было открыто в большом амбаре без окон, но с хорошими дверьми, окованными железными полосами. Деревянные полы украшались устланными коврами. Начался с‘езд чтением выдержки из газет о положении ссылки и приветственной

речью к нам—защитникам. Говорили на якутском языке, но для нас все дословно переводили. Все указывали на то, как ссылка разоряет край, заставляет «оковывать двери» от уголовных, как тяжело и без того полуголодным якутам содержать неведомых пришельцев... Жаловались и на политическую ссылку — на тяготу навязываемого надзора за ссыльными... Мы оба тоже говорили: об'яснили—почему произошел «романовский» протест, чего хотели добиться ссыльные... Так как положение политических на местах более всего зависит от улусных голов, иногда почти бесконтрольно ведающих пространствами, равными площади Швейцарии, я уверен, что эти речи были не бесполезны для положения «государственных»...

С'езд закончился торжественным постановлением ходатайствовать перед правительством об отмене ссылки в Якутскую область...

Среди якутов пока очень мало интеллигенции. На весь народ десяток, не больше. Высшее учебное заведение окончил один единственный человек — доктор Сокольников... Но якуты живой, предприимчивый народ, интересующийся всем, что творится на белом свете... И они пробьют себе путь к культурному строительству.

Первые, кто ко мне обратились «по делу» из «политических», были... контрабандисты! Эти люди перевозили за плату через границу нелегальную литературу. О политике они не имели ни малейшего представления и не интересовались ею. Тем не менее, их сослали, как политических, и теперь селили вместе с последними. О их роли соглядатаев меня сразу же предупредили остальные ссыльные...

Пришедшие ко мне просили составить им прошение о помиловании...

Этого рода случайных гостей политической ссылки часто смешивают с настоящими «государственными»... Один якут жаловался мне на отвратительные обманы политического. Когда я расспросил, то оказалось, что обидчик именно из таких «политических»... И мне стоило большого труда раз'яснить якуту, что такие «политические» еще не политические и что бранить их за такого «товарища» несправедливо...

Тюрьма Якутска оказалась самой обыкновенной сибирской: одноэтажный тесный дом с несколькими флигелями. Все окружено деревянным частоколом заостренных кверху палей...

Как всегда, начальник тюрьмы с первого же слова начал жаловаться на переполнение тюрьмы заключенными:— Вы не можете себе представить, что я вытерпел от этого переполнения тюрьмы,—говорил он, забывая, что вытерпели задыхавшиеся друг у друга на голове заключенные...

А их в тюрьме было действительно чересчур много. Одних обвиняемых по делу якутского протеста 55 человек!.. Здесь же я застал Ергина, отбывавшего наказание за убийство исправника в Колымске, подвергшего истязанию политического, который затем покончил с собою, и Минского, убившего конвойного офицера при попытке изнасиловать девушку, шедшую этапом в партии политических...

Политические произвели на меня чрезвычайно сильное впечатление... Лица их, начиная с неграмотных грузин, выделялись своей сознательностью.

Несмотря на безысходную тяжесть заброшенной и одинокой жизни в самых глухих наслегах, некоторые политические все же развивались, шли вперед. Нужны только книги и товарищи, могущие оказать поддержку... А горячего желания учиться всегда много...

Попав в тюрьму, обвиняемые романовцы, главным образом, рабочие, занялись своим самообразованием...

Рабочих было невозможно отличить от университетских людей...

Были организованы лекции.

— Где Ольга В.?—спросил однажды прибывший в тюрьму для предварительного следствия прокурор.

— На лекции химии в бундовской камере, — отвечали ему и провели в камеру бундовцев...

И прокурору не показалось странным, что в тюрьме идут лекции, есть свои профессора.... Ведь это было естественно для него, присмотревшегося к политическим...

Конечно, мои впечатления Якутска во многом были неполны... Все внимание поглощалось защитой, изучением

дела... На все я смотрел уже с точки зрения выгод и нужд процесса, не глазея по сторонам, как лошадь в шорах смотрит только прямо, на свою дорогу...

В Якутске я познакомился с Панкратовым, бывшим шлиссельбуржцем. Когда-то рабочий, он произвел на меня впечатление ученого профессора. Правда, Панкратов много работал еще в Шлиссельбургской крепости.

Такое же сильное впечатление произвел на меня и Шебалин... Я глядел на него и Панкратова и думал о том, как ничтожны мои путевые тяготы в сравнении с тем, что пережили они... Оба не сгинули в ссылке, оба много читали, думали, работали.

Я приехал к Шебалину в юрту на заимке. Он жил недалеко от Якутска на опушке не то вырубленной, не то начинающей расти молодой тайги. Мы пошли гулять. По обеим сторонам дороги просвечивала вода болота.

— Ну, не важный лес!—сказал я,—болото, сырость!..

Шебалин вступился за свою тайгу.

— Знаете, когда меня освободили из крепости, то сразу же повезли сюда. Везли непрерывно. И нигде жандармы меня не освобождали, не пускали отойти от них ни на шаг... Ехать было также тяжело, как сидеть в Шлиссельбургской крепости... А мы все ехали и ехали. Железной дороги тогда не было... Наконец меня привезли в наслег. Одинокая юрта стояла на опушке тайги. Приведя к ней, жандармы оставили меня. И я вдруг почувствовал свободу. Я не верил себе, не верил своему счастию... Они ушли... Я бросился в тайгу. Дальше, дальше!.. Я шел по лесу и никто не следил за мной, никто не глядел на меня в глазок дверей! Я не верил себе! Я оглядывался кругом. Никого не было! Да, жандармы оставили меня! И я свободно шел дальше и свободно, широко дышал полной грудью свежим, не тюремным воздухом.. О. как прекрасна тайга!..

Якутский протест еще до суда над романовцами имел громадное значение для судьбы всей ссылки. Он совершенно терроризировал своим европейским скандалом высшую местную администрацию. Она сделалась необыкновенно терпеливой, и в самом Якутске стали возможными такие факты, которые раньше были совершенно немыслимы. В области царили если не административная смута, то во всяком случае административное смущение...

Едва приехав в Якутск, я уже услышал о Каце. Кто он, как-то никто не интересовался. Может быть, это был рабочий-самоучка, а то выброшенный за борт университетской жизни студент... Он не пошел с товарищами за баррикады дома инородца Романова, но все же проживал в Якутске. В это время с ним поселился К., который и рассказывал мне о нем...

— Представьте себе,—говорил К.,—просыпаемся мы однажды утром... Тоска смертная. В городе ни души. Все лучшие ушли на «романовку». Не с кем слово вымолвить... Лежим мы с Кацом на постелях и молчим. Наконец Кац произносит:—Тоска, скучно, чорт возьми!. .

— Да-а—отвечаю я...

— Ведь во всем городе нет ни одной собаки, с которой бы поговорить... Тоска!...—лениво тянет Кац, и вдруг вскакивает с постели, точно осененный блестящей мыслью...—Батюшки, пойду ка я поговорить с губернатором!

А надо заметить, что в Якутске мы жили нелегально. Ведь и протест товарищей начался из-за борьбы за право отлучек. А в виде наказания за отлучки начальство грозило ссылкой в Верхоянск или Колымск...

Кац ушел. Я полежал, полежал некоторое время и думаю себе: чего-ж я валяюсь без дела, пойду ка посмотрю, как Кац с губернатором «разговаривает» и сам заодно «поговорю»... Отправился. Вхожу в приемную. Публики разной масса. Вижу—сидит Кац в кресле, важно развалился, ногу на ногу закинул и курит... А надо заметить, на голове у него колоссальная шевелюра—для конспирации, по его словам. Во время побегов он сразу меняет свою наружность: поднял волосы под шапку и не узнать, другой человек...

Сидит себе Кац и так солидно дым пускает, будто в голове его великие мысли витают, тогда как витает только дым, да и тот лишь вокруг головы...

Одет он в блузу французского рабочего, штаны в заплатах, точно шахматная доска... Сам Горький признал бы, что в вопросе штанов ниже его «дна» другое дно существует...

Об обуви Каца и не говорю...

Только мимо Каца пробегает дежурный чиновник... Кац важно манит его пальчиком и говорит:

— Послушайте! доложите губернатору, что Кац пришел!

— Слушаюсь,—отвечает тот. И ушел.

Спустя некоторое время, чиновник возвращается и сообщает:—Его превосходительство просит подождать.

В это время чиновник снова бежит мимо. Кац манит его пальчиком и говорит:

— Доложите губернатору, что Кац ждет!

— Сию минуту!

— Через некоторое время выходит губернатор и прямо к нему, но, прежде чем губернатор успевает открыть рот, Кац набрасывается на него и кричит: «послушайте, губернатор, когда же наконец вы сошлете меня в Верхоянск или Колымск?

Губернатор, оторопев было, вдруг обрадованно спешит заявить, что готов отправить Каца хоть завтра, притом сделает это с большим удовольствием, так как давно собирается отправить его подальше, и откладывать не станет.

— Не отправите,—вдруг, ехидно хихикая, заявляет Кац,—теперь туда нет дороги, началось весеннее и летнее бездорожье, по болотам не довезете!

Губернатор безнадежно молчит, и Кац торжественно уходит. Его даже не пытаются задержать.

От нечего делать, я тоже подхожу к губернатору и заявляю, что мне надоело жить в наслеге, почему нельзя ли перебраться в Якутск... И губернатор, волнуясь и горячась, уверяет, что это было бы вопреки всем циркулярам, совершенно невозможно и немыслимо. Он и не

подозревает, что я живу в Якутске уже целый месяц без всякого разрешения. Не до нас администрации!...

Задумал Кац пробраться к засевшим в доме товарищам— посмотреть, что там творится, вынести их письма... Дом был уже окружен солдатами, никого не пропускали. Вот подходит он к кордону... Солдаты к нему. А Кац заложил руку в карман, вздул его кулаком и кричит: «подступи, подступи, застрелю, застрелю!»

— И что вы думаете? Все солдаты, как мыши, разбежались! А Кац вошел в дом, передал письма, получил для воли и выходит... Между тем и солдаты и полицейский надзиратель Олесов, главный сыщик области, уже ждут его у ворот. Только что Кац вышел, а они и набросились на него, схватили. Олесов знал его хорошо, и злорадствуя, что поймал, посадил рядом на свои саночки, чтобы отвезть в полицейское управление. А надо заметить, саночки эти маленькие, без козел и полости, потому что у нас все в длинных дохах ездят, нет и надобности укрываться. Везет Каца Олесов, а Кац сидит спокойно, точно в гости едет. Только выехали они на глухую улицу. Кац вдруг совершенно равнодушно и говорит:—вон вороны летят!

А вороны у нас большая редкость...

— Сказал Кац, и Олесов сразу же голову задрал, во все стороны крутит. Тут Кац как хватит его кулаком по груди! Тот вожжи выпустил и вывалился назад, запутался в дохе, барахтается в снегу... А Кац, не будь дураком, подхватил вожжи и по лошади!—Удирать!.. Проехал некоторое расстояние и решил скрыться во двор. Лошадь погнал, сам на ходу соскочил—и в сторону... А уж погоня следом, за переулком кричит. Кац забежал во флигель к товарищу и в окошко довольный глядит: вот, мол, как благополучно от дураков ускользнул!.. Но он забыл, что по сторонам дороги лежал нетронутый снег и его следы остались... Дом полиция и окружила... Кац их сразу же заметил... Во флигеле-то в окне три рамы были, оно не замерзло, видать все... Что тут делать?!. Он и обращается к товарищу П., у которого находился:—Дай мне твою фуражку и пальто, одевай мою шубу, надвинь папаху на

голову—точно это ты волосатый—а на папаху мою шапку. Иди позади. Я пойду вперед и стану тебя звать... Так и сделали... Кац поднял волосы под фуражку, подогнул ноги под дохой, стал ростом меньше, идет впереди и все время кричит, оборачиваясь назад к П-ву: «Кац, да иди же скорее, слышишь, иди скорее, если удирать хочешь!» Полиция за воротами притаилась. Ждут. Вышел Кац на улицу, они его и пропустили. Иди, иди, голубчик, нам не тебя надо, веди его за собою в ловушку!... Кац прошел за линию кордона и приостановился. Только показался за ворота П., как накинется на него полиция, давай колотить, вязать хотят. Папаха у П. свалилась, он крик поднял, за что деретесь! А в это время Кац издали фуражку снял, начал раскланиваться и кричать: «вот, и я!» Волосы-то у него из-под шапки вывалились, его сразу же и узнали... Бросили П. и за Кацом! Да, не тут-то было. Его и след простыл... Олесов был так взбешен, что итти не мог: стоит и качается...

Дело об якутском протесте слушалось десять дней сряду. Пока не выяснилась роль губернатора Чаплина при усмирении «романовцев», мы, оба защитника, не подходили к нему и не знакомились. Но после его показания, осторожного к судьбе обвиняемых и честного для губернатора, мы убедились, что Чаплин был кругом обманут местной администрацией... И мы решили познакомиться с Чаплиным, чтобы через него помочь политическим.

Во время перерыва я подошел к нему и скоро у нас завязался разговор... Мы стояли в корридоре у окна, выходящего на улицу.

— Согласитесь сами,—говорил я ему,—что положение ссылки ужасно, оставить ее так дальше невозможно, циркуляры из Петербурга безграмотны и нелепы, так как основаны на абсолютном незнании местных условий... Только петербургский чиновник, стряпавший их, мог думать, что наслег похож на русскую деревню, где так или иначе, можно достать все крайне необходимое... Вы должны принять меры к тому, чтобы облегчить положение ссылки, должно смотреть сквозь пальцы на отлучки к доктору, за покупками, к товарищам... Не губите молодежь! Ведь то, что делается, незаметное убийство!

— Да, это все так,—отвечал Чаплин,—и я стараюсь облегчить положение ссыльных, но, знаете, это возможно лишь до поры, до времени. А затем всякое терпение лопается!

— Полноте, какое тут терпение?...

— Вы тоже не знаете «местных условий»!

— А что?

— Да вот взять хотя бы господина Каца!.. Невозможный суб'ект! И откуда он сюда свалился на нашу голову?..

— Но, ведь, вы сами называете только одного!..

— Одного?! Он стоит ста двадцати! Такого скандалиста я не встречал за всю мою жизнь... Представьте себе, если на базаре собралась толпа, а посреди нее кто-нибудь ораторствует, я заранее знаю, что это господин Кац! Если кто-нибудь перед собором в праздник или под губернаторскими окнами, когда собрались гости, горланит революционную песнь или кричит: долой самодержавие,— я заранее уверен, что это—господин Кац! Когда я ему говорю: послушайте, господин Кац, да как вы смеете так кричать, он мне спокойно отвечает: «я за это сюда прислан, а потому имею право!» Ну, что вы поделаете с таким господином? За каждую историю мы переводим его все дальше и дальше от Якутска. На бумаге он значится уже на 800 верст севернее Якутска, в самом глухом наслеге, но уверяю вас, что он никогда и нигде не был далее ста верст отсюда! Буквально ради него одного приходится держать урядника, отвозить этого суб'екта на место приписки... И нет ни одного урядника, от которого он не бежал бы! Я пробовал менять урядников,—ничто не помогает. Он, как сквозь землю, проваливается! Ужасно, ужасно это надоело. Мы его снова отправляем, а он снова бежит и, вернувшись, немедленно под окнами губернаторского дома чуть свет дает о себе знать! «Вставай, подымайся, рабочий народ!» Точно губернаторский дом рабочая казарма!... Но это все пустяки... Вы сами знаете, как здесь коротко лето... Я решил воспользоваться им и устроить пикник. Обратился к Коковину и Басову и они дали мне пароход. Я пригласил самое избранное общество. Все дамы в белых платьях, точно на бал с'ехались!...

Вхожу я на пароход и вдруг вижу на верхней палубе собрались наши барыни, а между ними стоит Кац, руки в боки, ноги циркулем расставил, голову задрал и ораторствует на тему, что буржуа прогуливают народные деньги...

Не желая устраивать скандал, я прошу надзирателя Шубарина подойти к Кацу и незаметно попросить сойти с парохода. Шубарин идет, возвращается и сообщает, что господин Кац не же-ла-ет сойти с парохода! Я зову надзирателя Олесова и говорю ему: сходите к г-ну Кацу и скажите—что либо он, либо я. Олесов возвращается и говорит, что господин Кац ответил: — во всяком случае не я! После этого я зову полицеймейстера Березкина и приказываю ему распорядиться, чтобы городовые снесли Каца на берег. Что вы думаете? Подходят они к нему. Кац не сопротивляется. Городовые берут его на руки, и он садится на них, точно пава какая-то! Сидит и во все стороны отвешивает высокомилостивые поклоны... Снесли его городовые и поставили на берег. А он снова расставил ноги, руки в боки, а голову задрал и, будто китайский богдыхан, изрек:—я позволил городовым снесть меня, так как мне было интересно прокатиться на этих ослах! Ну, как вам это понравится?! Да, ведь, это профанация власти! Но это только цветочки, а вот позвольте рассказать вам об его ягодках. Ожидали мы приезда преосвященного. В качестве губернатора, я распоряжался встречею. На осеннюю пристань отправился казак, чтобы во-время известить о приближении парохода... Мы все были в полной парадной форме. Дамы с букетами цветов... По берегу разостлали ковер... Казалось, что все благополучно, что все, что нужно сделать, сделано... Но я забыл о господине Каце и своевременно не вывез его из города, хотя бы на несколько дней!..

Когда подплыл пароход, с него спустили на берег две доски. Перил, сами знаете, нет. Все это так примитивно... На борту парохода показался архиерей и только собрался благословить нас, как тревожно обернулся. За его спиной я увидел гордо поднятую голову господина Каца. Я сразу же почувствовал полный упадок духа...

Архиерей начал сходить на берег. А вы знаете, какой крутой и высокий здесь берег? Идя по доскам, преосвященный все время оборачивался... И тогда я понял отчего! Сзади него, вплотную, гордо напирая на него животом, шел господин Кац! Можете себе представить жалкий вид архиерея! Вся торжественность встречи пропала... Вечером, за обедом, архиерей только спросил меня:—кто здесь у вас этот нахал, с такой гривой волос, тот, что чуть не свалил меня в Лену?... И я промолчал, что это—политический Кац! Вы говорите, что я плохо отношусь к политическим, но, поймите, я не мог сразу же испортить отношение к ним у архиерея и покрыл этого невозможного суб'екта... Вы не можете себе представить, сколько мне было хлопот с этим Кацом теперь, в ожидании приезда сюда старшего председателя и прокурора судебной палаты... Ведь я был убежден, что Кац устроит какой-нибудь скандал. И потому я поднял на ноги всю полицию»...

Мы попрежнему стояли у окна коридора, выходящего на улицу. У здания суда толпилась полиция,—и Чаплин показал на нее рукой.

— Все эти полицейские бегали по городу, разыскивая Каца... Наконец, слава богу, нашли. На этот раз я принял все меры к тому, чтобы он не мог бежать. Выбрал двух самых надежных урядников, приказал им не спускать с Каца глаз, его обыскивали в моем присутствии и повезли за 800 верст. Теперь, наконец...

Но тут Чаплин вдруг остановился, изумленно глянул в окно, лицо его вытянулось до неузнаваемости, и я услышал какой-то непонятный не то вопль, не то восклицание.

— О-о! Однако!.. Смотрите, смотрите, это он! Да, это он! Одна-а-ко!.. — Взволнованный и красный Чаплин, протягивая к окну руку, указывал мне на гордо идущего прямо на полицию юношу с громадной гривой волос... Лицо у него было усталое, глаза уныло глядели вперед...

— Это он, это Кац! Смотрите, он опять вернулся!— О-о! Это он! Нет, больше я не стану церемониться, я упрячу его в тюрьму! Это невыносимо, надо его немедля же арестовать! Да где же полицеймейстер?!!..

Я сделал все, чтоб успокоить Чаплина:—Вы такой всесильный здесь человек, в вашем распоряжении область, равная Европейской России, и вы станете разменивать свою власть на такие пустяки... Нет, вы не тронете его! Кац—жертва ссылки, жертва тоски безделия. Кому какой вред от его песен или криков. Ведь якуты не понимают его!..

— Жертва?! А разве мы сами не жертва ссылки?!.. Здесь такая тоска...

— Здесь?! Но ведь Кац рвется сюда, что же там, в наслеге?..

Чаплин махнул рукой:—Ну и бог с ним...

Наш разговор продолжался, но я думал о Каце, этом герое скуки, и о ссылке, и об ужасе того, сколько, по своей сумме столетий и тысячелетий, плодотворного труда человеческого уже потеряно для счастья родины, благодаря системе ссылки—этого наказания вынужденным бездельем здоровых людей. .

Сколько способных, талантливых, находчивых людей погубила она, сколько больших и широких натур бросила в тиски духа и сделала маленькими и незаметно серыми...

VIII

Якутская область и ссылка.

За 12 тысяч верст от нас раскинулась Якутская область Восточной Сибири—тогда эта громадная, необ‘ятная тюрьма без железных решеток в окнах, без запертых дверей, без высокого каменного забора, без перекликающихся часовых, все же молчаливо-угрюмая, недоступная, страшная келейностью тюрьма...

Она была недоступна никому или почти никому по доброй воле, как недоступна каждому хотя бы поездка... в Австралию.

— Да, в ту неведомую часть света!...

Дорога из Якутской области продолжительнее, физически тяжелее, дороже, чем путешествие в Австралию через половину Европы до Гамбурга, через моря и океаны, через весь материк Северной Америки от Нью-Иорка до Сан-Франциско...

В своей известной книге «Sibirien» автор ее, характеризуя положение ссылки восьмидесятых годов, передает следующий анекдот. Однажды в сибирской пересыльной тюрьме административно-ссыльные рассказывали друг другу, кто за что очутился среди остальных. Один из них крайне недоумевал.

— Не понимаю,—говорил он,—решительно не могу понять, за что я очутился здесь, в этой могиле..—Послушай,—серьезно перебил его товарищ,—да не было ли у твоего отца рыжей коровы с белым хвостом?—Была!—

отвечал недоумевающий,—как же, наверно была, ведь мой отец—помещик.

— Ну так чего-ж ты удивляешься? Ведь для того, чтоб администрация сослала не только одного, а целый десяток, иногда достаточно просто рыжей коровы и при том даже без белого хвоста!..

И никто не возразил ему.

В 1903 году положение ссыльных круто ухудшилось. Во главе министерства внутренних дел стал Плеве—один из жесточайших людей своего времени! Под его влиянием, по его инструкциям иркутский генерал-губернатор граф Кутайсов начал прибирать ссылку «к рукам».

Осенью 1903 года всем ссыльным было об'явлено содержание циркуляра иркутского генерал-губернатора о самовольных отлучках. В циркуляре, мотивированном впечатлениями проезда через Иркутскую и Енисейскую губернии, говорилось о том, что ссыльные постоянно совершают самовольные отлучки, благодаря чему устраивают побеги и вступают в противоправительственные отношения. Посему предписывалось доносить об отлучках генерал-губернатору с тем, что виновные в совершении отлучек будут переводимы в северные округа края (Колымский и Верхоянский).

Чтобы понять значение циркуляра, достаточно вспомнить географические и бытовые условия Якутской области.

В описании последней, изданном Сибирским отделом географического общества, говорится, что одна только Якутская область занимает поверхность, равную всей Европейской России, без Кавказа и Финляндии. При этом Якутская область в административном отношении делилась на улусные правления (наши волостные), и между ними некоторые ведали площадями, имеющими в окружности до 1.000 верст, т.-е. равными, например, всей Швейцарии. Улусы состояли из «наслегов» — деревень. Но якутский наслег нисколько не похож на нашу обычную, хотя бы Иркутской или Саратовской губернии, русскую деревню!..

Среди открытой тундры или дикой непроходимой тайги на расстоянии 12—15 верст разбросано несколько «юрт».

Между ними нет даже проезжей дороги—только пешеходная или верховая тропа. Таков наслег.

В 1904 году я побывал в гостях у якутов. Мы долго ехали по безлюдным, глухим, непроезжим местам.—Вот и наслег,—сказал мой спутник—улусный голова. В открытой, кочковатой, темно-зеленой пустыне торчала одинокая юрта. Кругом не было видно даже дыма соседней... Я не поверил. Но где же другая?—А вот поедем дальше, увидите—спокойно отвечал он... И телега снова заколотилась по нетронутой земле...

Снаружи юрты напоминают те землянки, которые строят при ремонте железной дороги из старых шпал. В землю вкопаны 4—6 невысоких столбов, связанных вверху перекладинами, а к перекладинам прибиты приставленные деревянные брусы; на перекладины же положен и «потолок», заваленный сверху землею, поросшей травой. Из этого плоского «потолка», служащего и крышей, торчит широкая труба от камелька—своеобразного камина. В стенах одна дверь да небольшие отверстия величиной в полулист писчей бумаги—«окна», без стекол, лишь с жидкими ставеньками из дощечек. Зимою на окна наваливают глыбы льда, и они заменяют стекла... А внутри... Темная, мрачная, прокоптелая нора, придавленная низким, в рост человека, потолком, земляной пол, протянутые у стен скамьи, на которых можно лежать и сидеть согнувшись... Посредине вечно горящий камелек.

И ничего больше... Нет стола, табуретки; посуда—вся из березовой коры, сшитой конским волосом. Дети—совершенно голые... Нищета, ободранность взрослых ужасная. Не в голодный год, а всегда едят только рыбу да молоко «в разных видах» с вареной «заболонью»—молодой, белой, сосновой или лиственичной корой, находящейся под наружной, красной. Ее они режут то длинными нитями—лапшой, то кусочками, то размалывают как муку и приготовляют лепешки—«хлеб»... Я пробовал эту жвачку... И в таких юртах среди якутов, не говорящих по-русски, жили ссыльные...

Но у ссыльных бывали иногда и иные «квартиры».—Через некоторое время по прибытии в Якутск,—расска-

зывал при мне ссыльный Наум Коган,—я был водворен в Богородском наслеге, находящемся верстах в 10—18 от Якутска, т.-е. в таком месте, которому позавидовал бы всякий... Водворение выразилось в том, что привезший казак сдал меня на руки писарю и с сознанием исполненного долга вернулся в город. После продолжительных переговоров и поисков выяснилось, что во всем наслеге нет ни одной свободной юрты. Писарь только пожимал



Наслег за Якутском (деревня).

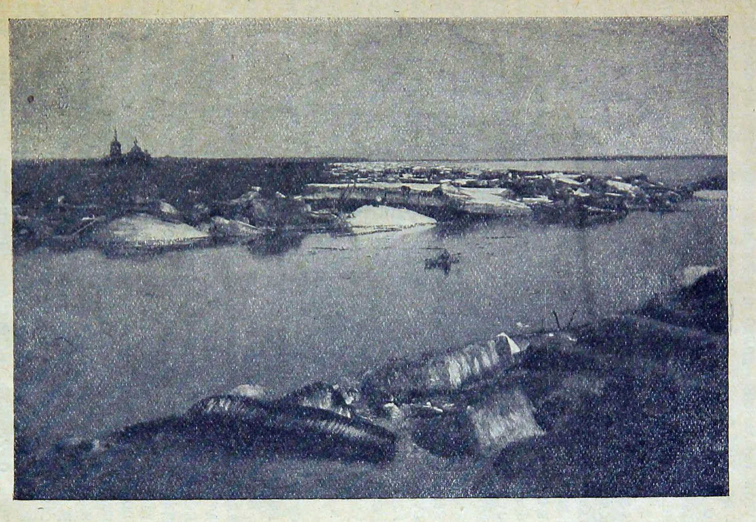
плечами, недоумевая, как это власти посылают сюда политических. Правда, верстах в 10 от города был «дом», давно выстроенный одним ссыльным, но в двух полуразрушенных комнатах его жило уже человек 7 и среди них две семьи. Мне предстоял выбор между заброшенной якутской баней, состоявшей из 4-х стен, без окон и земляной крыши, и домиком чиновничьей дачки на одной «заимке». Чтобы сделать баню хоть немного обитаемой, надо было,

по словам моего возницы, затратить 30—40 рублей, и я вынужден был остановить свой выбор на заимке.

До сих пор не понимаю, как я выжил эту зиму в дачке, совершенно не приспособленной для холодов. Я спал одетый. За несколько ночных часов, в которые я не топил (днем я беспрерывно подкладывал в камелек дрова), стены покрывались налетом инея, вода в самоваре становилась льдом, обувь до того промерзала, что я должен был долго отогревать ее на камельке, к металлическим вещам нельзя было дотронуться голыми руками... По утрам, пока я с лихорадочной поспешностью растапливал камелек, у меня буквально зуб на зуб не попадал от холода. Тогда стояли 50° морозы. И эта пытка тянулась месяцы... Я подал прошение о разрешении поехать на 2 недели в Чуранчу, за 150 верст севернее Якутска. Мне просто хотелось хоть на короткое время бежать из своей ужасной заимки. И я получил отказ... Кроме сторожа заимки—старого черкеса, едва говорившего по-русски и об‘якутившегося поселенца из уголовных, вечно сидящего на одном месте и воющего одну и ту же заунывную ноту,—ни одной души. Кругом меня на несколько верст было абсолютное безлюдье. И не говоря уже о страшной тоске, способной довести человека до самоубийства или сумасшествия, мне ведь необходимо было время от времени приходить в город, чтобы не умереть с голоду. И тут возникла дилемма: итти в город без разрешения, и тогда — полная неуверенность в завтрашнем дне, в том, что завтра же тебе не об‘явят о переводе в Колымский округ, или—просить разрешения, терпеливо ждать и получить отказ... И как вор, прячась от властей, ходил я в город за покупками.

Купить на наслеге абсолютно ничего невозможно. Нужно ехать в город. Я не говорю о бумаге, чае, посуде, одежде... Нет, там нельзя достать и куска сухого хлеба. Без поездки в город ссыльного ждет голодная смерть или цынга...

— Но ведь можно послать вместо себя якута!? —Ссыльный получает пособие по 12 рублей в месяц... Заработка—никакого. Посылать не на что. Ссыльный идет пешком за 100—150 верст.



Колымск весною.

Однажды я таки послал якута,—рассказывал мне другой ссыльный—долго я об'яснял ему, что не могу есть из вонючей деревянной посуды, показывал бумагу, об'ясняя, что посуда должна быть такого именно цвета, постарался нарисовать эмалированный кувшин с круглой ручкой. Наконец, он закивал головой,—понял, мол. Якут уехал в город и вернулся через месяц. Я и бывшая петербургская курсистка, хрупкая, нервная девушка, сосланная в тот же наслег, что и я, уже мечтали о том, как сегодня будем пить молоко, сваренное в чистой посуде... Мы так торопили хозяйку юрты, готовившую нам в своей конуре, что даже не посмотрели на покупку. И вот хозяйка торжественно внесла ее... Боже мой! Наш кувшин оказался той посудиной, которую ставят на ночь под кровать... Это было так неожиданно, так обидно. Моя товарка замахала руками, закричала: «не надо, не надо, унесите», и истерически зарыдала... Я тоже не мог есть, хотя и знал, что посуда новая. Я написал прошение о разрешении отлучки в город за покупками и, не желая нарушить циркуляр, снес конверт по инстанции за 25 верст, при 40° морозе, в улусное правление, хотя до города было всего 15 верст. И я стал ждать... Через 2 месяца я получил из города от губернатора, через улусное же правление, ответ с отказом, в виду того, что причина отлучки неуважительная...

В Якутской области, при отсутствии дорог, высоких скалах, сопках, болотах, непролазных лесах, езде то на лодках, то на лошадях, то на оленях, то на собаках— некоторые врачи заведывали участками длиною в 1.000 верст, шириною в 500—600 верст! Таков был участок врача из якутов П. Н. Сокольникова. В наслегах фактически не было медицинской помощи и, благодаря запрещению отлучек, ссыльным приходилось рвать зубы ножницами... Местная администрация, в избытке старания выполнить циркуляр ген.-губернатора, строго предписала якутам всей области ни под каким предлогом не давать ссыльным лошадей для отлучек. Можно себе представить, в каком положении очутились, например, беременные ссыльные женщины, лишенные врачебной помощи... Правда, кое-где были

«фельдшера». По их вызову мог приехать доктор, выдать медицинское свидетельство, по которому затем, в ответ на прошение, давали разрешение отлучиться. Но даже фельдшера из николаевских солдат, «чтобы не навлечь на себя подозрения», отказывали записать хотя бы в свою книгу больных политических. И болезнь нечем было подтвердить...

Об одном ссыльном «забыли». Ему перестали высылать пособие. Четыре зимних месяца юноша кормился подаянием у дикарей якутов. Он был нравственно измучен.



Политический на своем хозяйстве.

И они тяготились им. А на прошения о высылке установленного пособия все не было ответа. Когда наступила весна, якуты подарили ему два колеса; он смастерил повозку, навалил на нее весь свой багаж, книги и потащился пешком в Якутск. Целый месяц тянул юноша двухколеску по болотам и тайге, и, наконец, изголодавшийся, ободранный, тощий, как скелет, «подкатил» прямо к областному правлению...

Такого характера были многие и многие «отлучки»... Но ведь они были опасны тем, что могли повлечь за собою побеги?! Нет!

Если из Иркутской и Енисейской губерний и возможны были побеги благодаря железной дороге, пересекающей их, массе переполненных поездов, то из Якутской области они почти немыслимы, по географическим условиям края. Дорога здесь только одна и открытая—три тысячи верст по реке Лене, против быстро бегущей воды! По берегу—путь совершенно непроходим. Непролазная от густого кустарника тайга переполнена медведями и сохатыми — дикими лосями. Побег возможен только на пароходе, совершающем рейс в 12—15 суток, и далее, от Усть-Кута до Жигаловой, на лодке, которую тянут лошади, «бредущие» и по воде, иногда переплывающие широкую реку. Пароходы встречает и провожает адмиристрация, к ее услугам телеграф. Побеги невозможны и благодаря дороговизне пути. За все время их почти никогда отсюда и не было и не от отлучек зависели они... Еще менее могли открытые отлучки содействовать противоправительственной деятельности. Ее здесь не на кого было направлять! Ни фабрик, ни заводов; ни ремесленников не было даже в центре области—Якутске—с его 8.000 населением. И меха выделывались в Москве...

А ведь за эти отлучки, вызываемые крайней нуждой, совершаемые без утайки, начали ссылать в Верхоянск без суда, без простого хотя бы запроса о причине, по одному голословному доносу полуграмотного урядника! Из учебников географии нельзя себе представить, что такое этот страшный и для Якутска Верхоянск. Это самый холодный на земном шаре населенный пункт. Зимою морозы доходят там до 68^0, полтора месяца стоит непрерывная ночь, в другие месяцы слабый дневной свет бывает только один-два часа в сутки; кратким летом—солнце совершенно не заходит за горизонт, комаров так много, что в домах и на улицах днем и ночью тлеют дымокуры из навоза, тряпок и листьев; если там положить на тарелку кусок свежего мяса, то чрез полчаса оно будет белое, как бумага; комары высосут всю кровь... И маленькие дети летом ходят в черных сетках-саванах. По казенной цене ржаная мука, стоившая тогда в Европейской России 40 копеек, там продавалась 16 рублей пуд, а почта шла туда един-

ственным путем, через Якутск, медленно двигаясь из Европейской России три-четыре месяца... Телеграфа не было. «Когда получаешь ответ на письмо, ничего не понимаешь: забываешь, о чем спрашивал... Страшная оторванность от всего, вечно гнетет мысль, живы ли родные»,— говорил мне побывавший в Верхоянске ссыльный.

И туда потянулись целые десятки жертв нового курса...

Вслед за изложенным циркуляром об отлучках, как мы говорили, вызванным впечатлениями от проезда через Иркутскую и Енисейскую губернии и потому, быть может, оказавшимся столь несоответствующим жизненным условиям далекой от них и своеобразной Якутской области, был издан новый циркуляр «о свиданиях», точно также об'явленный всем ссыльным. Согласно этому циркуляру, ссыльным запрещались какие бы то ни было свидания с проходящими мимо вновь прибывающими партиями. Должностным лицам предписывалось немедля же доносить о всех домогающихся свиданий, причем последним указывалось и наказание за это—опять-таки «перевод» в «северные округа», т.-е. в Верхоянск и Колымск.

Циркуляр был мотивирован тем, что ссыльные во время свиданий вступают в противоправительственные отношения и устраивают демонстрации. Этот циркуляр произвел целый переворот в жизни ссыльных. При страшном одиночестве, часто отсутствии вблизи хоть одного русского человека, для ссыльного единственным утешением, единственной радостью было пожать руку проезжающему мимо товарищу по несчастью, помочь ему одеждой, поделиться новостями... накормить.

— Нас в наслеге было всего трое,—рассказывал мне один ссыльный,—все, что было читать, мы давно перечитали, все, о чем было говорить, давно переговорили... Иногда мы молчали целыми днями, точно поссорившиеся, ненавидящие друг друга люди... То было полное отсутствие всяких впечатлений... Однажды ночью мимо нашего наслега провезли партию. Мы прозевали ее и даже издали не увидели живых людей... Это было так ужасно... Тогда,

боясь снова пропустить проезжающих товарищей, мы начали дежурить... При леденящих 40° морозах мы простаивали по очереди у открытой дороги дни и ночи, ловя каждый звук, прислушиваясь, не зазвенит ли вдали колокольчик... И так было всю зиму... За несколько минут свидания, за приветливо брошенное в снежной пустыне слово, за дружеский кивок головы—легко было не спать и дни, и ночи, и ночи...

Нечего и говорить, что при таких условиях о вступлении в какие-либо противоправительственные отношения не могло быть и речи. В самом деле, в какие отношения могли вступить между собою незнакомые лица за четверть или полчаса разговора в присутствии конвойного офицера, того офицера, которому власти считали возможным бесконтрольно доверить ссылаемого на целый месяц дороги... Еще менее значения имело опасение демонстраций. Конечно, они не были невозможны. Но, ведь, для устранения их власти располагали такими решительными средствами, как устав и уложение о наказаниях. (Не только за демонстрацию, но и за простой шум, за чересчур громкий голос администрация всегда могла привлечь виновных по всеоб‘емлющей 38-й статье). А, ведь, и за простое домогательство свиданий, опять-таки по голословному доносу урядника или подчиненного ему очень маленького чина, «надзирателя для ссыльных» без всякого разбирательства, без расследований, без об‘яснения причин, стали ссылать, увеличивая при том срок, все в тот же Верхоянск—«город» заживо погребенных...

— Я пробыл в Сибири 5 лет,—рассказывал мне один ссыльный (кажется, Моисей Лурье).—Я женат, у меня на родине остались дети. За эти пять лет они, вероятно, выросли, стали большими... Вы понимаете,—я не мог взять *сюда* семью... Да-а... Срок ссылки кончался... Последние дни я бесконечно томился, буквально не находил себе места. Меня безумно тянуло домой...

За неделю до срока я самовольно поторопился в областное правление, чтобы попросить приготовить документы для обратного проезда.

Чиновник долго рылся в бумагах, наконец поднял голову и спокойно произнес:—Вы на родину не поедете.

— Почему?—удивленно спросил я.

— Вам маленькая прибавочка,—отвечал он, улыбаясь.

— Сколько?

— Пять лет...

Я остолбенел.

— За что?!

— За свидания.

— Я их не добивался.

— Ну, так за самовольную отлучку.

— Но, ведь, я отлучался всего несколько раз для покупки хлеба, у нас там был голод...

— Ну, посмотрим бумагу...

В бумаге не было никакого об'яснения, было сказано лишь, что я получаю назначение в Верхоянск.

Мой собеседник замолчал...

— И тогда вы решились на такое ужасное... самоубийство?

— Да.

И было ли все это правильно, соответствовало ли существовавшему тогда «закону» беззакония? — Нет. В законе нигде не было запрещения ссыльному видеть близких людей или домогаться возможности видеть их. Нельзя же забывать, что и при самом строгом келейном заключении, даже во время предварительного следствия давали свидания! Лишенные *всех* прав состояния каторжники не лишены были права на свидание! Закон знал только одно единственное исключение — Шлиссельбургскую крепость, но это *исключение*, как таковое, было точно оговорено законодателем.

Естественно, при таких обстоятельствах, что именно запрещение свиданий начало вызывать неприятные всем столкновения и, действительно, демонстрации, так как свиданий стали «домогаться». И опять в отдаленнейший угол отдаленнейшей окраины потянулись новые и новые жертвы развертывавшегося режима...

В развитие этих циркуляров местная администрация перестала селить ссыльных в города, при чем даже давно

и мирно живших в городах начали переводить в наслеги. Перестали поселять по берегу Лены или у почтового тракта, выбирая малолюдные глухие, населенные исключительно якутами, одинокие местности...

Город становился теперь запретной мечтой для ссыльного. Таким образом вырабатывалась своеобразная, внегородская «черта оседлости» для сынов всех народностей России,—отданных под надзор полиции не в наказание (как гласила первая же статья положения о полицейском надзоре), а «в предупреждение и пресечение возможности совершения преступления»...

Как удар громовой, поразило административно-ссыльных известие о полученной несколькими из них «бумаге».— Окончившие срок ходатайствовали о выдаче им, согласно заведенному порядку, обычного пособия на обратный путь, домой. И им было отказано!—Вместо пособия в «бумаге» предлагалось ехать «сельским движением» с будущей партией уголовных арестантов. Из Якутска в Иркутск такие партии отправлялись в далекое путешествие чрезвычайно редко, по мере накопления подлежащих отправке. Все идущие «сельским движением» следовали, как арестанты, из этапов в этапы...

Я видел эти ужасные «пересыльные тюрьмы» Якутской области!

Мрачные, деревянные ящики из бревен, без окон, с небольшими щелями вместо них.

Когда в одном из станков я с изумлением спросил писаря: «неужели это этап?»—он угрюмо ответил: «да, прости господи, страшные клоповники!..».

В Иркутской губернии этапы окружены высоким деревянным, заостренным кверху частоколом, так как в этапах есть окна, конечно, с железными решетками, но все же окна... «Сельские» этапы Якутской области стоят на открытых местах, частоколов нет и не нужно, ибо в узкие щели—«окна» можно просунуть только руку... Не нужно «зато» и железных решеток..

И по тону, и по содержанию об‘явленная бумага не составляла сомнения, что отныне «сельским движением» будут возвращаться на родину все политические, отбывшие срок ссылки. И, не говоря уже о том, что это «движение» затягивало на долгие месяцы возвращение «освобожденных», что оно оскорбляло чувство справедливости, так как «освобожденный», после томительного ожидания «свободы», без всякой вины попадал в положение арестанта, «сельское движение» ставило в отчаянное положение хотя бы «освобожденных» девушек, вынужденных проводить месяцы в обществе убийц, грабителей и насильников...

И было ли это правильно?—Нет! Закон был «гуманнее». В статье 40 положения о полицейском гласном надзоре говорилось, что политические ссыльные, отбывшие свой срок, «в случае неимения средств для от‘езда *имеют право на пособие от казны,* согласно высочайшему повелению 10 января 1881 года, если только не последует особого распоряжения министра внутренних дел». На такое распоряжение бумага не ссылалась, его никто не слышал, его очевидно, не было.

Пособие немедля и всегда выдавались всем отбывшим срок, получавшим ежемесячные пособия, т.-е. ранее того признанным неимущими средств. При страшной дороговизне пути, местные власти до этого сами считали необходимым облегчать возвращение даже имущим. Так, с фирмой «Глотов», содержащей почтовые пароходы на Лене, было заключено условие, что они будут перевозить возвращающихся ссыльных по значительно удешевленному тарифу...

Таковы были циркуляры и бумага, произведшие наиболее сильное впечатление на ссыльных. Но как было провести в жизнь циркуляры об отлучках и свиданиях, столь не соответствующие примитивным требованиям самой жизни?!

Началось с того, что ссыльных стали заставлять *подписывать* эти циркуляры. И какими средствами?

— Я был поселен в городе К., — разсказывал один ссыльный, кажется, Бройдо.—В это время там строили казенный винный склад. Нужны были люди, знающие толк в постройке. И тогда мне, как бывшему студенту-технологу, предложили место чертежника. Я, конечно, с радостью взялся за это дело. Я женат, за мною в ссылку пришли старая мать, жена и двое детей... И я весь ушел в работу. У меня буквально не было свободного часа... Но к концу года я устал. Мне хотелось отдохнуть, вырваться хотя на день из душной атмосферы ежедневного механического труда. И когда один товарищ, живший на расстоянии всего шестидесяти верст от Киренска, в деревне, прислал приглашение к себе на именины, я с радостью принял это предложение. Не желая нарушить обычного порядка, я пошел в полицейское правление заявить, что хочу поехать туда. Вместо ответа, исправник пред‘явил мне циркуляр о самовольных отлучках.

— Прочтите и подпишите... Теперь отлучки невозможны,—заметил он.

Я прочитал циркуляр, но отказался подписать его... К товарищу я так и не поехал...

Прошло около двух месяцев. Вдруг исправник вызывает меня в управление и говорит:—Вы должны немедля же ехать в деревню П., вас перевели туда...

— Далеко ли это отсюда?

— 500 верст.

— Как же ехать?!

— На лодке.

Стояла осень. Моя жена только что родила. Я начал умолять исправника оставить меня в Киренске, пока жена окончательно поправится... Он был непреклонен... И мы поехали...

Эта дорога была сплошным горем. Дождь лил непрерывно... Как не умерли жена и ребенок, как выдержали дети и старуха-мать, я не могу понять и до сих пор...

Приехали. Не успели мы распаковать чемоданы, как следом прибыл казак и об‘явил, что мы должны ехать немедля обратно... Поехали...

В Киренске я иду в полицейское управление и тут узнаю, что должен опять «немедля же» отправляться в Усть-Кут, где получу новое назначение... Спрашиваю, за что на меня свалилось такое несчастье, и не могу добиться толку... Единственное лишь об'яснение: на другой день после того, как я отказался подписать циркуляр, то-же сделали и остальные ссыльные в Киренске!.. Но вот что я узнал безусловно точно. — В то время, когда исправник посылал меня в деревню П., у него уже лежала «другая» бумага об отправке в Усть-Кут, т.-е. в совершенно противоположную сторону... И меня снова повезли... В Усть-Куте я опять неожиданно узнал, что меня повезут в Якутск, где я окончательно получу назначение...

Отказы от подписания или от исполнения циркуляров породили целый ряд дел «о сопротивлении власти»... И снова тянулись новые жертвы на крайний север...

Однако, хотя многие «чересчур распускающие ссылку», должностные лица были заменены новыми, в некоторых местах остались представители власти, смотревшие на отлучки и свидания попрежнему, сквозь пальцы, или «с личной точки зрения», благодаря взяткам.

Поэтому не все ссыльные одинаково почувствовали тяжесть нового режима; были такие, которые счастливо даже не замечали его...

Иные продолжали спокойно жить и в городах, занимая места «доверенных» в богатых торговых фирмах, мимо других режим проходил незаметно, благодаря разрешенным ранее научным экспедициям...

И тем суровее, беспросветнее развертывался он для других...

В циркуляре от 20 августа 1903 года местная власть сообщила якутскому исправнику строгий выговор за нераспорядительность: один ссыльный самовольно отлучился из наслега в город и будучи вызван в полицейское управление для отправки к месту водворения, категорически отказался ехать, несмотря на все убеждения. почему исправник составил акт; «между тем исправнику следовало не ограничиваться одними убеждениями, ни к чему

не поведшими в данном случае, а силой заставить исполнить свое законное требование, раз слова не помогают»...

И действительно, некоторые сравнительно мелкие должностные лица, чересчур правильно понимая свои «обязанности», начали усердно применять «силу». Так в Усть-Куте, когда партия ссыльных настаивала на свидании с местными товарищами, солдаты по распоряжению конвойного офицера, избили ее прикладами, связали всех, бросили связанными в сани и в таком виде повезли при 40° морозе... В результате были отмороженые руки и ноги...

Вообще, для проведения в жизнь циркуляра «о свиданиях» приходилось изобретать разные «меры», а это давало широкий простор для всяких злоупотреблений.

Некоторые конвойные офицеры, течением реки Лены сплавлявшие иногда ссыльных одновременно на нескольких паузках (не то грубо сколоченных «барках», не то пятиугольных плотах с невысокими прямыми бортами и конурами посреди), стали устраивать на своем паузке лавочки, для продажи с'естных припасов, а «чтобы ссыльные не могли добиваться свиданий», приставали на стоянку только к пустынным, не населенным берегам. Таким образом ссылаемые должны были покупать все по очень повышенным ценам в лавочках офицеров, бесконтрольно сбывавших и гнилые припасы, лишены были возможности покупать для детей молоко...

Самое путешествие в паузках значительно усложнилось. Вот как рассказывал о нем один ссыльный:

— Измученный продолжительным одиночным заключением, я шел в ссылку, если не с радужными надеждами, которым вообще не могло быть места, то во всяком случае с уверенностью, что здесь можно будет и душой отдохнуть, и позаняться.—Там, думалось мне, не будет этого постоянного попирания человеческой личности, которое вошло в систему в тюрьмах, не будет этого мелочного, придирчивого контроля над каждым твоим шагом, этой унизительной, назойливой опеки, невыносимой для взрослого вообще, для человека мыслящего, культурного в особенности. И разве все эти мои надежды не были разбиты в первые же дни пути?!

Надо сказать, что шел я в ссылку в июле—августе 1903 года, т.-е. как раз, когда совершался поворот к новому курсу... И нашей партии первой пришлось испытать на себе его...

Сопровождавший партию офицер, поручик Прусиновский, был человек, повидимому, не злой, но все эти циркуляры, предписания и строжайшие инструкции до того взвинтили этого усердного, вдобавок недалекого, вечно пьяного служаку, что он склонен был усматривать чуть ли не бунт в малейшем пустяке, в роде, например, требования, чтобы в паузках были прорублены для света окошечки [1]. Благодаря этому, у нас произошел целый ряд столкновений. Возле Киренска дело дошло до того, что солдаты стреляли, правда, на воздух, и бросились на нас с прикладами, при чем одному из товарищей пробили голову... Не удовольствовавшись этим, Прусиновский вызвал меня, как старосту партии, на свой паузок и тут уже дал себе полную волю. В течение нескольких часов он разражался по моему и отсутствовавших товарищей адресу самой площадной бранью; он, как раз'яренный зверь, бросался на меня с кулаками... Когда я делал попытку уйти от этих оскорблений, он грозил связать, заковать в кандалы, совершенно не пустить к товарищам, которые с мучительной тревогой ждали меня... Помню, минутами мне нужно было страшно много самообладания, чтобы не схватить его за горло. Но что я мог сделать, одинокий, безоружный, окруженный солдатами, готовыми броситься на меня по первому знаку начальника, оторванный от товарищей, которые даже не знали бы, как я погиб...

Страшно становится, когда вспомнишь, что приходилось переживать во время 33-х дневного плавания на паузках... Начиналась осень — холодная, дождливая. Паузок тесный, низкий, как гроб, наскоро сколоченный из досок, протекал, точно решето. Постели, платье, белье—все про-

[1] Прибыв в Якутск, конвойные офицеры продавали в свою пользу паузки на слом. И потому каждое «лишнее» отверстие, каждый «лишний» гвоздь «обесценивают» доски, из которых сделан паузок... Не в этом ли была разгадка «усердия»?!

питывалось водой, которая лужами стояла на нарах, на полу. Нас пронизывали мелкие, моросящие туманы и холодные ветры с реки, свободно проникавшие в широкие щели паузка...

Почти вся партия переболела: в иные дни у нас бывало до десятка больных, но мы о себе не думали: с нами были маленькие дети и среди них двое грудных. Они разболелись коклюшем. Дни и ночи их мучил хриплый, удушливый кашель и мы только чудом довезли их. Как мы изболелись душой за маленьких страдальцев, которым так рано пришлось испытать все это! Особенно тяжело было в дождливые дни, когда мы буквально не могли найти для детей хотя какого-нибудь местечка на нарах!

Иногда мы по-очереди держали над ними тарелки, посуду... Без гвоздей у нас не было никакой возможности приладить, вместо тарелок, хотя бы простыни...

Все наши просьбы о принятии каких-либо мер оставались тщетными. Офицер ссылался на то, что какая-то комиссия, о которой мы и представления не имели, признала паузки годными для плавания, и отказывался сделать что бы то ни было... Я настаивал, чтобы он с'ездил на наш паузок посмотреть, что там делается. Поручик Прусиновский цинично отвечал, что у него нет никакой охоты мокнуть ради нас под дождем... Я умолял его, особенно после Киренска и вплоть до Якутска, вызвать к больным врача — он отказал без об'яснения причин... Тогда от имени партии я телеграфировал в Иркутск, обрисовав весь ужас нашего положения. Телеграмма осталась без ответа...

Это был сплошной ужас, безграничное отчаяние...

Офицер, ссылаясь на новый циркуляр, с целью не допускать свиданий, приказывал останавливать наш паузок на 5—10 верст выше или ниже населенных мест... А ведь некоторых из нас приговор застал врасплох! Многие не успели запастись теплой одеждой, в двух тюрьмах товарищам разрешили взять с собою только по 30 фунтов багажа, как уголовным, заявив, будто «не слышали», что политические имеют право на пять пудов багажа... И они шли совсем «налегке»... Некоторые крестьяне и рабочие

ехали без денег, им не на что было и купить теплой одежды... И только местные ссыльные могли тогда помочь, дав одежду до следующего населенного товарищами пункта... Но у нас не было возможности покупать на берегу и продукты. За все мы платили втридорога Прусиновскому, для которого, как и для всех сопровождающих партии офицеров, лавочка составляла доходную статью... И он не гнушался наживаться на счет наших грошей и грошей следовавших в партии уголовных... Ревниво оберегая свои доходы, офицер однажды чуть не избил солдата, который тайно от него купил для нас на берегу пуд картофеля. И приходилось питаться скверной солониной, заплесневелыми сухарями да гнилой рыбой.

И при этом мы должны были задыхаться в затхлой атмосфере тесного паузка, тесного до того, что многим не хватало места на нарах, и они должны были спать под нарами, среди сундуков и всякого хлама. Мы лишены были права хотя изредка подышать свежим воздухом на берегу, так как нас даже во время стоянок ни под каким видом на берег не выпускали...

Вдумайтесь же хотя немного в эту бледно нарисованную мною картину путешествия,—и вы поймете, что должны были переживать мы, люди с развитым чувством человеческого достоинства, преследуемые именно за неуменье мириться с гнетом и насилием...

Нужно ли мне передавать всю бездну горя разыгравшейся под Нохтуйском трагедии, окончившейся убийством конвойного офицера Сикорского бывшим студентом Минским...

Партия Сикорского состояла вначале из 200 уголовных и 35 политических. И такая большая партия была доверена поручику, никогда раньше не выполнявшему этих сложных обязанностей, совершенно невежественному человеку. Он не имел ни малейшего представления о границах своих полномочий, правах и обязанностях. Без всякой нужды Сикорский непрерывно прибегал к военной силе, беспрерывно грозил применить розги, то и дело отдавал такие приказания, которые и конвой не считал возможным исполнять...

А если исполнял, то как? Сикорский, несмотря на просьбы ссыльных позвать доктора, приказал оттащить на тряскую телегу больного политического, лежавшего на земле без памяти, и солдаты подняли его со слезами на глазах.—«Простите меня, пожалуйста»,—шептали солдаты, оттаскивая ссыльных от больного...—«Гоните эту политическую сволочь!»—кричал Сикорский...—«А ты, паршивая фигурка,—говорил он в другой раз девушке, стоявшей перед ним,—дерешься с моими конвоирами—сейчас тебя разложат и при мне высекут!..»

Когда некоторые ссыльные потребовали свидания, в ответ он приказал привязать к телегам всю партию, в том числе и женщин, и вез их всех связанными... И они бились головами о передки повозок...

Он не являлся к политическим по зову и не подпускал для разговору мирных и спокойных людей ближе, чем на 10 шагов, при чем ежеминутно угрожал револьвером.

Он обсчитывал на кормовых не только политических, выдавая им вместо 18-ти по 15-ти копеек в день, но и уголовных и солдат...

Наконец он сделал попытку изнасиловать ссылаемую девятнадцатилетнюю девушку, позвав ее к себе «на допрос». Его дикий и гнусный «разговор» с нею, благодаря щелям в каюте паузка, слышали солдаты... И после этого «разговора» несчастная девушка порывалась покончить с собою...

Потом он снова послал ночью за нею солдат, сказав перед тем спьяна фельдфебелю, что хорошо бы ею воспользоваться. И солдаты прошли за нею. Но они не отвели ее к нему, а остались до утра на паузке и послали по начальству телеграмму, что офицер принуждает их совершить вместе с ним преступление...

Телеграмма ссылаемых, посланная ранее, осталась без ответа. Телеграмма солдат имела успех.

Тотчас были командированы на пароходах два офицера навстречу и вдогонку паузка: из Якутска и Киренска—арестовать Сикорского и принять от него команду... Но они опоздали!.

Паузки остановились на ночь попрежнему у пустынного берега. Около 2-х часов ночи Сикорский пошел на политический паузок и направился в женское отделение. Его намерения были очевидны для всех, кто не спал... Таким оказался бывший студент Минский. Он схватил револьвер, уцелевший у кого-то из ссыльных, и выстрелил... Сикорский пал мертвым. Раздались два выстрела солдат. Шац, ссыльный, поднявший с полу голову, был убит. Минский ранен в ухо... [1].

И в связи с необходимостью проведения в жизнь изложенных циркуляров разве только это хождение по мукам,—один путь в ссылку,—был усеян терниями?

«Для исполнения их» даже мелкая администрация должна была заняться корреспонденцией «государственных», значительно усилить штат «полицейских надзирателей для ссыльных», являющихся без всяких признаков своего служебного положения, но открыто пред'являющих разные требования к ним...

Вот как рассказывал о почтовых порядках один ссыльный:

— Отсылка и получение корресподенции были сопряжены всегда почти с оскорбительными для нас инцидентами. Местное волостное правление, или вернее, писарь, отправлял посыльного на ближайшую станцию с почтой, когда ему вздумается, не только не предупреждая никого об этом, но как бы нарочно стараясь задержать письма; при получении же он бесцеремонно задерживал некоторые из них по целым неделям, при чем, не стесняясь иногда, вынимал такое письмо, уже грязное и измятое, из кармана и, отдавая говорил: «это для вас, забыл передать вам». Сознание, что этот грубый, лишенный всякого чувства деликатности, человек читает письма от жены, родных и друзей и, быть может, глумится над ними, а вы бессильны помешать этому, не могло не приводить в отчаяние, не возмущать кого угодно...

---

[1] Дело о Минском слушалось в Якутском суде, и даже коронный суд оправдал его!

И в глазах надзирателей, урядников—то, что раньше было законно, дозволено — стало теперь незаконно, не дозволено.

Достаточно было обывателю зайти к политическому по делу, предложить купить что-нибудь, как встретивший его урядник или надзиратель уже грозно окрикивал:

«К чему ты ходишь сюда в гости? Смотри у меня! Живо разделаюсь!»

И обыватель испуганно начинал сторониться ссыльного...

Даже у таких «государственных», которые жили в наслегах, раскинутых посреди глухой тайги, полной медведей и прочего дикого зверя, надзиратели стали отбирать ружья, хотя без ружья за плечом никто,—не только из пришлых уголовных ссыльных, но и из местных жителей,—не решался сделать шагу по тайге, хотя охота являлась единственным развлечением или заработком, давая и приварок к столу...

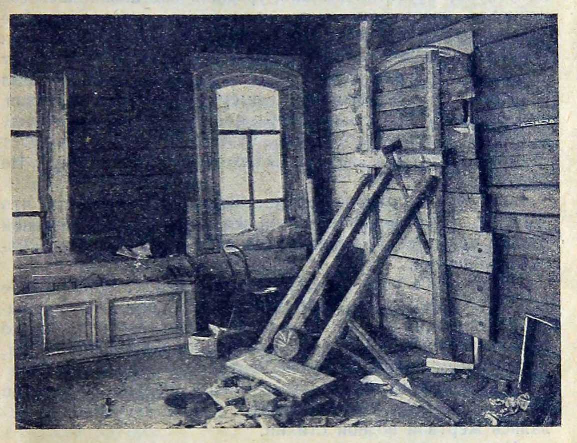
Я жил тогда в Иркутской губернии. Около нашей квартиры,—рассказывал один ссыльный [1],—постоянно терся какой-то подозрительный суб'ект, как оказалось потом,—надзиратель, приставленный следить за нами. Он был одет, как и другие обыватели деревни, и ничем от них не отличался. Но, навязчивый, он нам попадался повсюду. Нельзя было ступить буквально шагу, чтобы не встретить его... То он скользил сзади, как тень... Часто, не стучась и неслышно он заходил в нашу квартиру и, несмотря на наши протесты и жалобы уряднику, становому, которые на них всегда отвечали как-то уклончиво, мы не могли избавиться от нашего назойливого преследователя... Наконец он довел свое усердие до того, что, благодаря ему, нас сослали в отдаленнейшие места Якутской области «за сопротивление властям»... Вот как это случилось...

«Однажды утром он постучался в ворота нашего флигеля. На вопрос, что ему нужно, он заявил, что пришел

---

[1] Удивительно талантливый художник, студент Брюссельской академии художеств, покойный А. И. Израильсон, написавший замечательную картину «Романовцы в Якутской тюрьме». Пока находится у меня. Перейдет Ленинградскому музею революции.

«поверять» нас. Я ему ответил, что мы все дома и что если ему интересно убедиться в этом, то он может подождать на улице, пока мы выйдем, к себе же в квартиру я его не пущу, так как обязан пускать полицию, а его, неведомого мне человека, имею право не пустить. Но, видя, что он настаивает на своем и даже лезет уже через забор (калитка была заперта), я заложил входную дверь



«Баррикада».

крючком и крикнул ему в окно, что он не имеет права ломиться к нам силой, как он грозил это сделать. Было рано. Мои сожители еще спали... Между тем этот господин, перелезши через забор, отворил ворота и ушел... Спустя некоторое время он показался снова, но уже в сопровождении урядника и целой толпы сотских и десятских.

«Урядник стал требовать, чтобы мы «впустили господина надзирателя». Так в первый раз он величал перед

нами упомянутого суб'екта. На это я и проснувшиеся товарищи возразили, что его, урядника, как лицо нам известное, мы готовы впустить, но решительно отказываемся пустить к себе столь подозрительную личность; если же у него или у урядника есть предписание сделать у нас обыск, пусть раньше покажут бумагу.

«Мы несколько раз повторили, что его, урядника во всяком случае пустим... Однако, урядник, настаивая на своем, приказал крестьянам взять валявшееся во дворе длинное бревно, чтобы ломать им, как тараном, двери... Товарищи крикнули, что он поступает незаконно, что он вынуждает стрелять... У меня были сильно натянуты нервы, я был нездоров... Я взял револьвер, высунулся в окно и сказал, что стрелять в них не буду, но если они сию секунду не уйдут, я покончу с собой. Они поняли, что это будет так, и ушли... Мы хотели жаловаться губернатору... Но бросили...

«Прошло некоторое время... Вдруг нам об'являют, что мы все, даже жившие в той же деревне, на отдельной от нас квартире, ссылаемся «за сопротивление» в Якутскую область...

Летом 1904 года из Верхоянска в Якутск бежало трое ссыльных. Они знали, что ждет их в дороге. И они заранее примирились с мыслью о возможности рокового исхода путешествия, приготовились ко всем испытаниям, уготованным дикой природой Верхоянского края.

Неоднократно переправляясь через бурные и глубокие реки, они были на краю гибели и только случайно не сделались жертвой водной стихии.

Целыми неделями блуждали они по тайге, сопровождаемые одичавшей собакой, жадно стерегшей, не свалится ли кто-нибудь из них..

Они были лишены с'естных припасов и испытывали мучения голода.

Непроходимые и топкие места в многочисленных тундрах, встречавшиеся по их пути, всасывали в себя несчастных. Однажды один из них заснул в болоте между двумя кочками, погруженный в трясину по пояс. Силы оставили его.

Дорога довела этих изголодавшихся, насквозь промокших и морально измотавшихся людей до полного изнеможения и отчаяния.

И преодолев все препятствия, счастливо избежав многочисленные случаи надвигавшейся гибели, они явились к якутскому губернатору и заявили о причинах, побудивших их отважиться на такой опасный и рискованный путь. Они заявили, что жизнь в Верхоянске равносильна медленному и неизбежному угасанию...

При полной невозможности иметь в Верхоянске какой-либо заработок, казенного пособия 15 рублей в месяц хватает менее чем на полмесяца; остальное время верхоянские ссыльные всегда живут впроголодь; хроническое недоедание преждевременно разрушает их здоровье...

Прибывший за ними исправник подтвердил все это, подтвердил, что в Верхоянске и Колымске сейчас свирепствует голод...

И вот местная администрация во время моего пребывания в Якутске заявила, что желает отправить их обратно. Они заявили, что не поедут и готовы за то умереть...

При открытых дверях 55 человек административно-ссыльных романовцев были приговорены к каторге на 12 лет. Сни встретили приговор совершенно спокойно и многие отказались подать апелляционный отзыв, несмотря на просьбы и уговоры близких.

— Почему вы не соглашаетесь подать отзыв,—спросил я одного из них.

— По личным соображениям.

— Каким?!

— Видите ли... каторга мне гораздо выгоднее административной ссылки,—уверенно отвечал он.—Я был предназначен к отправке в Верхоянск на 10 лет... В Верхоянске я не имел бы заработка, жил бы впроголодь, питаясь одной рыбой, одиноко, отрезанный от всего внешнего мира, лишенный писем! Меня поселили бы в темной юрте со льдиной вместо окна, я был бы в обществе одних и тех же двух-трех товарищей. Лишенный меди-

цинской помощи, книг, телеграфа, я задыхался бы от мороза! А в каторжной тюрьме, хотя бы Александровской,— у меня будет камера, пусть и с железной решеткой, за то со стеклом в окне, меня накормят и при том хлебом, письма будут доходить скоро, кругом будет общество товарищей, русских, а не якутов, я буду иметь заработок, со мною будут поступать «по закону»... Ну, а до «поселения» хотя бы и там, в Якутской области,—чересчур далеко... Нет, каторга лучше такой ссылки!

И что мог возразить ему я, сам воочию увидавший эту страшную могилу заживо погребенных...

Будь же проклята гиблая ссылка, претворявшая громадный, интересный и богатый природными сокровищами край в гиблые места—этот страшный край погибели, горя и страданий...

Рабоче-Крестьянское Правительство прекратило ссылку в Якутскую область. Эту могилу для заживо погребенных создавал своим политическим врагам царь и его подлые приспешники. Могила теперь засыпана и сравнена с землей навсегда. Якутская область более не является колонией для ссылки уголовных и политических. Создание самостоятельной Социалистической Советской Республики возродит этот громадный, интересный и богатый природными сокровищами край. И вместо горя и страданий невольных пришельцев в эти «гиблые места» Якутская область даст приют свободному, братскому, мирно трудящемуся под Красным Знаменем народу.

Путь в ссылку.





ОГЛАВЛЕНИЕ.

